

П. Г. ВИНОГРАДОВ

РОССИЯ  
НА РАСПУТЬЕ



ТЕРРИТОРИЯ БУДУЩЕГО

Павел Виноградов

**Россия на распутье: Историко-  
публицистические статьи**

«Территория будущего»

## **Виноградов П. Г.**

Россия на распутье: Историко-публицистические статьи /  
П. Г. Виноградов — «Территория будущего»,

В книге собраны избранные историко-публицистические статьи известного российского историка Павла Гавриловича Виноградова, выходившие в отечественных и зарубежных изданиях в конце XIX – начале XX вв. В них выразилось своеобразное видение исторического прошлого страны и важнейших проблем России того времени. В статьях известного своими либеральными взглядами историка даны оригинальные оценки славянофилов и западников, реформаторской деятельности Александра II и ее последствий, университетского вопроса на рубеже столетий, причин и «предметных уроков» русских революций начала XX в. и гражданской войны. Значительная часть статей переведена с английского и норвежского языков и впервые публикуется на родине всемирно признанного ученого. Книга будет интересна и полезна историкам и политологам, всем, кто интересуется историей России.

## Содержание

А. В. Антощенко	5
I	6
II	9
III	12
IV	15
V	19
VI	24
VII	29
Славянофилы и западники	32
И. В. Киреевский и начало московского славянофильства	32
Т.Н. Грановский	46
Русский политический мыслитель	63
Пророческий жизненный путь	65
Университетский вопрос и образование в России	71
Учебное дело в наших университетах	71
I	73
II	75
III	78
IV	85
Что делается и что делать в русских университетах?	93
Конец ознакомительного фрагмента.	98

# Павел Гаврилович Виноградов Россия на распутье: Историко- публицистические статьи

## А. В. Антощенко Россия на переломе (О проблемах российской истории в публицистике П. Г. Виноградова)

Всемирную известность выдающемуся русскому историку Павлу Гавриловичу Виноградову (1854–1925) принесли его работы по средневековой истории Англии и историческому правоведению. Однако, как и большинство либерально настроенной профессуры в России конца XIX – начала XX в., он уделял значительное внимание историческому прошлому своей родины, без чего немислимым было определение перспектив ее развития и сознательное участие в общественной деятельности. Если в 1870-1880-е гг. во время учебы в Московском университете, научных командировок в Германию, Италию, Англию шло становление его как ученого, то с 1890-х гг. все более отчетливо обозначилось стремление историка занять активную общественную позицию. «Профессор всеобщей истории не может сидеть у себя в углу», – это обращение к ученикам не было пустой фразой. По справедливому замечанию К. Паркера: «Он не видел разрыва между своей профессиональной и общественной деятельностью: действительно мы можем видеть свободное течение идей между ними»<sup>1</sup>. Общетеоретические основания исторических построений П. Г. Виноградова следует рассматривать и как базис для выработки его либеральной программы<sup>2</sup>, а обращение к истории России – как необходимую основу для определения ее ведущих положений.

---

<sup>1</sup> Parker Ch. Paul Vinogradoff, the Delusions of Russian Liberalism, and the Development of Russian Studies in England // SEER. 1991. Vol. 69. №.1. P. 42. В отечественной историографии подчеркивалось обратное влияние общественно-политических взглядов П. Г. Виноградова на его историческую концепцию. См.: Могильницкий Б. Г. Политические и методологические идеи русской либеральной медиевистики середины 70-х гг. XIX в. – начала 1900-х гг. Томск, 1968; Мяжков Г. П. «Русская историческая школа». Методологические и идейно-теоретические позиции. Казань, 1988; Моисеев Л. С. Патриарх российской медиевистики: Жизнь и научное творчество П. Г. Виноградова. Симферополь, 2000.

<sup>2</sup> См. подробнее: Антощенко А. В. О формировании политической программы П. Г. Виноградова // Исторический ежегодник. Специальный выпуск: 2000. Омск, 2001. С. 78–91.

## I

Причиной первого обращения П. Г. Виноградова к проблемам истории послужил, казалось бы, случайный факт – приглашение прочесть Ильчестерские лекции в Оксфорде о славянофильстве в русской культуре<sup>3</sup>. Слушавший лекции Г. Фишер вспоминал впоследствии: «Это было, как мне кажется, одно из лучших по построению и самое выразительное из выступлений, которые я когда-либо слышал, и некоторые из его фраз до сих пор звучат в памяти. Он говорил, например, о страсти к «неусеченной жизни» как одном из признаков того романтического славянофильского национализма <...> который отрицал дух западной культуры <...> Виноградов, конечно же, принадлежал к противоположной школе, но он тем не менее рисовал мощную и отнюдь не без симпатии картину славянофильского движения в его различных проявлениях, литературных, философских, политических, художественных, и был полностью готов принять их влияние»<sup>4</sup>. Таким образом, чтение лекций стало первым шагом на пути определения историком своего места в общественном движении в России.

Со своим отношением к славянофильству и западничеству П. Г. Виноградов по возвращении из Англии познакомил и российскую публику<sup>5</sup>. Если англичан более заинтересовало славянофильство как проявление загадочной русской души, то в России единомышленники П. Г. Виноградова обратили большее внимание на его выступление о Т. Н. Грановском. В воссозданном автором облике признанного лидера зарождающегося российского либерализма западнической ориентации подчеркивались те черты ученого и гражданина, которые стали образцом для последующих поколений московской профессуры. Европейская образованность, позволившая синтезировать лучшие достижения крупнейших предшественников в исторической науке, достоинство, основанное на безупречной честности, прогрессивность взглядов и готовность отстаивать справедливость и истину как в стенах университета, так и вне их, человечность – вот те качества, которые привлекали в Грановском продолжателей его традиции в Московском университете и прежде всего – П. Г. Виноградова<sup>6</sup>.

Выступления о славянофилах и Т. Н. Грановском были проявлением все более отчетливо осознаваемой П. Г. Виноградовым тяги к широкой общественной деятельности. Не случайно лекция о славянофилах была прочитана «в пользу бесплатных столовых и сельских библиотек в местностях, пострадавших от неурожая и эпидемии»<sup>7</sup>, а о Т. Н. Грановском – в пользу комитета грамотности. В условиях оживления деятельности общественности в начале 1890-х гг. П. Г. Виноградов не мог уже довольствоваться лишь язвительными историческими параллелями между разлагающейся Римской империей и современным положением России в лекциях и критикой существующих порядков в узком кругу единомышленников. Его деятельная натура стремилась к практическим результатам. Основные направления общественной деятельности

<sup>3</sup> Это событие ярко и подробно представлено в письмах П. Г. Виноградова к друзьям и коллегам. См.: ГА РФ, ф. 579 (П. Н. Милюков), оп. 1, д. 3949, л. 1–2 об., л. 13–16 об.; НИОР РГБ, ф. 70 (В.И.Герье), к. 38, д. 111, л. 14–16 об.; там же, ф. 119 (Н. И. Кареев), к. 9, д. 79–80, л. 2 об. -3 об.; РГАЛИ, ф. 453 (Соллогубы), оп. 1, д. 376, л. 26–31 об.

<sup>4</sup> Fisher H. A. L. A Memoir // Collected Papers of Paul Vinogradoff (далее – Col. Pap.). Oxford, 1928. Vol. 1. P. 19.

<sup>5</sup> Виноградов 77. Г. И. В. Киреевский и начало московского славянофильства // Вопросы философии и психологии. М., 1892. Кн. п. С. 98–126; *он же*. Т.Н. Грановский // РМ. 1893. Апрель. 4.2. С. 44–66.

<sup>6</sup> М. О. Гершензон писал в письме к брату 19 февраля 1893 г.: «иго числа был на публичной лекции Виноградова: он очень хорошо читал о Грановском». См.: Гершензон М. О. Письма к брату. С. 66. В письме к К. Н. Бестужеву-Рюмину от 1 июня 1893 г. П. Г. Виноградов заметил: «Можно было, и даже я мог бы сказать гораздо больше и об общественной деятельности и об отношении его к западничеству и славянофильству. Но меня лично особенно интересовал вопрос о роли Грановского] в исторической литературе, и, признаюсь, этому вопросу я пожертвовал многим в последующем». РО ИРЛИ РАН, 24.724/CLXXXIX6. 48, л. 2–2 об.

<sup>7</sup> Лекция о Т. Н. Грановском, опубликованная позже в виде статьи, была прочитана «в пользу бесплатных столовых и сельских библиотек в местностях, пострадавших от неурожая и эпидемии». См.: РГИА, ф. 733, оп. 193, д. 1309, л. 32.

историка были тесно взаимосвязаны. Ими стали, во-первых, пропаганда представлений о государственном и общественном устройстве передовых западных стран и, во-вторых, активное участие в просветительских организациях и городском самоуправлении.

Важность просвещения и профессиональная вовлеченность историка в дело образования вполне естественно определили, что именно в этой сфере проявился первоначально общественный темперамент П. Г. Виноградова<sup>8</sup>. Начав с «малых дел» – написания учебников по истории, создания исторического общества, участия в работе комитета грамотности, руководства училищной комиссией Московской городской думы и педагогическим обществом при Московском университете, – Павел Гаврилович постепенно пришел к выводу о необходимости изменения всей системы школьного образования в России. Основной идеей проекта, представленного им в 1900 г. на заседаниях специально созданной министерством народного просвещения комиссии, была последовательная демократизация школы<sup>9</sup>. По мысли историка, система школьного образования должна быть целостной, с тесной взаимосвязью всех ступеней и максимально возможной доступностью всем социальным слоям. Опираясь на европейский опыт (особенно скандинавских стран<sup>10</sup>), он последовательно проводил мысль, что школа должна содействовать не дифференциации общественных слоев вследствие получения ими различного по объему и качеству образования, а, напротив, их сближению и расширению среднего образованного класса.

Напряженная работа в общественных просветительских организациях, городской думе, участие в разработке проекта реформы среднего образования не отодвигали в жизни П. Г. Виноградова на второй план главный «просветительский орган» – университет. Его роль здесь не ограничивалась чтением ведущих курсов по всеобщей истории или великолепно поставленными в методическом отношении семинарами. Все более отчетливо в стенах Круглой залы, где заседал профессорский совет Московского университета, звучал голос ординарного профессора П. Г. Виноградова об общественном значении университета и необходимых преобразованиях в его управлении. Наиболее полно его мысли о назревших изменениях в университетском образовании выразились в статье «Учебное дело в наших университетах»<sup>11</sup>.

Сам факт предпочтения публичного выступления возможности подать служебный доклад или записку, как это делали многие из его коллег, свидетельствовал о желании П. Г. Виноградова опереться на общественное мнение<sup>12</sup>, а не только на свой личный авторитет известного историка, для того, чтобы быть услышанным властями. За этим стояло ясное осознание им той роли, которую играло общественное мнение в выработке государственной политики в демократических государствах Западной Европы и Америки, и стремление добиться того же в России.

П. Г. Виноградов последовательно отстаивал идею самоуправления университетских корпораций, которая была существенно урезана университетским уставом 1884 г.<sup>13</sup> Воссоздание автономии университетов, которая признавалась уставом 1863 г., требовалось для последо-

<sup>8</sup> См. подробнее: Антоценко А. В. Об общественной деятельности П. Г. Виноградова // Общество и власть. СПб., 2001. 4.1. С. 15–31.

<sup>9</sup> См. об этом: Антоценко А. В. «Классицизм» или «реализм»: обращение к европейскому опыту и среднее образование в России (комиссия 1900) // Диалог со временем. М., 2001. Вып. 6. С. 135–154.

<sup>10</sup> См.: Виноградов П. Г. Борьба за школу на Скандинавском севере. СПб., 1902. Первоначально работа была опубликована в «Вестнике Европы» (1902. № 3).

<sup>11</sup> См. о подготовке публикации: Письмо П. Г. Виноградова к М. М. Стасюлевичу от 18 августа 1901 г. // РО ИРЛИ РАН, ф. 293 (М. М. Стасюлевич), оп. 1, № 339 [л. 6–9].

<sup>12</sup> Об этом свидетельствует и желание П. Г. Виноградова получить отписки статьи, чтобы «послать их кое-кому из своих знакомых». См.: Письмо П. Г. Виноградова к М. М. Стасюлевичу от 17 октября 1901 г. // РО ИРЛИ РАН, ф. 293, оп. 1, № 339 [л. 10–11].

<sup>13</sup> См. об этом: Антоценко А. В. П. Г. Виноградов об университетском вопросе в России на рубеже XIX–XX вв. // Русская наука в биографических очерках. СПб., 2003. С. 200–220.

вательной реализации основных начал университетского образования – научной свободы и педагогического авторитета. Сочетание этих двух начал определяло, по мнению Виноградова, значение университета как «центрального просветительного органа», от которого «зависит жизненность всех остальных частей воспитательной системы страны»<sup>14</sup>. Успешное выполнение этой функции университетом возможно только в условиях устранения вмешательства в учебное дело университетов со стороны бюрократии, которая осуществляла его в политических целях. Выступая за академическую свободу, П. Г. Виноградов понимал ее прежде всего как «свободу преподавания», считая, что определение учебных планов и экзаменационных программ должно быть прерогативой факультетского руководства. В данном вопросе он выступал как против сторонников «свободы слушания», так и против поборников «школьного принуждения». Осуществление идей первых, заимствованных из Германии, в условиях России привело бы к усилению бюрократического контроля в виде отделенного от преподавания государственного экзамена. Реализация намерений вторых означала введение принудительного обучения, которое «убьет свободный интерес к науке». В своих предложениях П. Г. Виноградов исходил из необходимости расширения свободы выбора лекционных курсов студентами, а также развития самостоятельности их занятий. Самоуправление профессорской коллегии, по его мнению, обеспечивало естественную основу местной университетской власти, связывая ее с авторитетом наставников, поскольку только последний позволял осуществлять правильное руководство студентами. Вместе с тем, считал П. Г. Виноградов, учащимся должно быть предоставлено право на создание собственных студенческих организаций, что отрицалось не только уставом 1884 г., но и уставом 1863 г. Причем мнение профессора в данном вопросе оказалось радикальнее, чем мог допустить даже такой относительно либеральный министр народного просвещения, как П. С. Ванновский. Признавая важность студенческих организаций для материальной взаимопомощи и в культурно-образовательных целях, Павел Гаврилович выступал за превращение курсовых, факультетских и общеуниверситетских представительных собраний студентов в инструмент выработки у них навыков законного выражения общественного мнения под руководством заслуживших их доверие профессоров. Именно так были организованы под руководством комиссии, возглавляемой П. Г. Виноградовым, курсовые и факультетские совещания в Московском университете в ноябре 1901 г., названные одним из участников «студенческим парламентом». При их проведении были последовательно реализованы принципы: выборности, свободного обсуждения вопроса и тайного голосования, подчинения мнению большинства при уважении права меньшинства на особое мнение. Непризнание такого характера деятельности студенческих организаций министром стало одной из причин добровольной отставки историка, решившего вскоре после этого уехать из России<sup>15</sup>.

---

<sup>14</sup> Виноградов П. Г. Учебное дело в наших университетах // ВЕ. 1901. Т. V. Кн. 10. С. 537-538-

<sup>15</sup> См. подробно о причинах этого решения: Антощенко А. В. История одной профессорской отставки // Казус. 2002. М., 2002. С. 234–272.

## II

После отъезда в Канны у П. Г. Виноградова завязалась переписка с П. Б. Струве, который предложил ему сотрудничать в «Освобождении». Павел Гаврилович согласился и высоко оценил статью с программным заявлением редакции. «Статьей я очень доволен и готов подписать каждую ее мысль»<sup>16</sup>, — писал П. Г. Виноградов, сочувствовавший идее объединения всех антибюрократических сил, с патриотических позиций выступающих за новую Россию. В качестве «замечания» историк предлагал пояснить, каким образом могут действовать те, к кому обращался редактор. Собственной конкретной программы у него в этот момент не было. «Способы действия не могут быть, конечно, указаны для каждого конкретного случая, — пояснял свою мысль Виноградов, — но необходимо всеми мерами и при всяком случае заявлять о беззакониях и злых последствиях существующего порядка»<sup>17</sup>.

Появившиеся вскоре на страницах «Освобождения» статьи П. Г. Виноградова, подписанные «авв», содержали резкую критику правительственной политики в области образования<sup>18</sup>. Раскрывая непоследовательность мероприятий, осуществлявшихся министрами народного просвещения П. С. Ванновским и Г. Э. Зенгером, историк противопоставлял им собственное видение путей решения университетского вопроса через предоставление университетам автономии, а студентам — права на собственные организации, в которых те могли бы под руководством профессоров выражать мнение по всем затрагивающим их вопросам. Однако полностью решить проблему студенческих выступлений, считал историк, возможно лишь изменением строя общественной жизни.

Важным моментом в определении исторических перспектив развития России, повлиявшим на выработку либеральной программы П. Г. Виноградовым, стало предложение прочесть лекции во время летней сессии 1902 г. в Кембриджском университете. Это позволило ему детализировать собственное видение изменений в России второй половины XIX — начал а XX вв. Важнейшим событием, определившим вступление России в новую историю, он считал проведение реформ 1860-х годов. По мнению историка, они были выражением «духа времени»<sup>19</sup>. Главным условием успеха преобразований он признавал сотрудничество правительства с образованным меньшинством, наделенным идеалами справедливости и независимым мышлением.

Основу социального переустройства составило освобождение крестьян, охарактеризованное П. Г. Виноградовым как «мирная революция», которая изменила экономическую структуру общества, вызвав к жизни другие реформы — политическую, административную и правовую. Тем самым было положено начало переходу от общества, основанного на принудительном труде лично зависимых тружеников — крестьян, к обществу, основу которого составлял вольнонаемный труд. Введение земского самоуправления означало первый шаг в движении от старого режима централизованного бюрократического управления, опиравшегося на дворянство и защищавшего его сословные интересы, к новому — с участием общества и в интересах всех его членов. Проведение правовой реформы, в положениях которой нашли воплощение лучшие достижения западноевропейской правовой мысли и практики применительно к российским условиям, должно было привести к утверждению современных политических

---

<sup>16</sup> Переписка П. Б. Струве с П. Г. Виноградовым (1902–1904) //РГАСПИ, ф. 279 (П. Б. Струве), оп. 1, д. 66, л. 57. Письма опубликованы мной: «Каждый обязан бороться на своем месте»: Письма П. Г. Виноградова к П. Б. Струве (1902–1904) //ИА. 2000. № 5. С. 186–201.

<sup>17</sup> Там же, л. 57 об.

<sup>18</sup> См.: Что делается и что делать в русских университетах? //Освобождение. 1902. № 2. С. 21–23 и № 3. С. 39–40; Новые временные правила //Там же. № 8. С. 116–119; Комическая фигура //Там же. № 7 (31). С. 113–115.

<sup>19</sup> *Vinogradoff P. The Reforming Work of the Tzar Alexander II //Lectures on the History of the Nineteenth Century. Cambridge, 1902. P. 242.*

достижений. Таким образом, реформы рассматривались историком как средство постепенного формирования гражданского общества, основанного на самостоятельности свободных граждан, права которых защищены законом.

Высоко оценивая реформы, П. Г. Виноградов вполне отчетливо видел и их недостатки. Освобожденное крестьянство осталось в особом, приниженном состоянии. Сохранение общины, которое, по его мнению, могло вполне сочетаться с распространением на нее, как юридическое лицо, общих правовых норм, привело к зависимости крестьян от этого древнего института. Законодательством они рассматривались как низшая страта, на которую не распространялись многие нормы права, действующие в отношении других социальных слоев. Наиболее вопиющим примером этого служило сохранение телесных наказаний крестьян. Помимо этого, крестьяне получили земельные наделы и угодья, которые были и меньше по размерам, и хуже по качеству в сравнении с теми, что они имели до освобождения, а усиливающийся налоговый гнет государства приводил к их обнищанию<sup>20</sup>.

Вместе с тем П. Г. Виноградов подчеркивал, что правительство принимало все меры к тому, чтобы сохранить привилегированное положение дворянства, которое начало терять свои экономические позиции после отмены крепостного права. Наиболее ярко стремление сохранить господство помещиков над крестьянами проявилось в создании института земских начальников. Введение этой должности, исполнитель которой сосредотачивал в своих руках полицейскую и административную власть и назначался губернатором из дворян, означало, по его мнению, отход от принципов судебной реформы 1864 г. Закон о земских начальниках означал «установление диктатуры», служащей укреплению центральной бюрократии, с одной стороны, и местного дворянства, с другой.

Важнейшей среди реформ 1860-х годов было введение местного самоуправления. Однако и здесь П. Г. Виноградов отмечал половинчатость и непоследовательность проведенных мер. Половинчатость реформы, отразившая, по его словам, «компромисс между либеральными идеалами и бюрократическими ограничениями», сказалась и в определении компетенции и властных полномочий земских органов. Законодатели исходили из стремления ограничить компетенцию земств решением местных хозяйственных дел, сохранив за государством политические. На практике такое разграничение, как отмечал историк, оказывалось невозможным. Вследствие этого создавались условия для постоянного вмешательства бюрократии в дела местного самоуправления, что делало фикцией положение о их самостоятельности в пределах определенной им компетенции.

Еще одним недостатком, сдерживающим развитие земского самоуправления и открывающим лазейку для произвола чиновников, была незавершенность системы земских учреждений. Они были созданы лишь на уровне губерний и уездов. На волостном же уровне все осталось без изменения. Здесь осуществлялось крестьянское самоуправление. Это консервировало замкнутость крестьянского сословия и, как уже говорилось, создавало возможность утверждения произвола бюрократического управления. Надежным заслоном против поползновений центральной бюрократии восстановить привилегии дворянства и всевластие чиновничества было, по мысли П. Г. Виноградова (впрочем, как и многих других земских деятелей), распространение принципов всеобщего земского самоуправления на волостной уровень.

П. Г. Виноградов рассматривал земства как «школу большей свободы». Он принадлежал к той части земцев, которые видели в земских учреждениях ростки демократического политического устройства. Всякие попытки бюрократии заморозить эти ростки рассматривались им как проявления политической реакции.

---

<sup>20</sup> Детально положение крестьянства в России было охарактеризовано П. Г. Виноградовым в статье «The Peasant Caste in Russia», помещенной в «Independent Review» (1904. Vol. IV. No. 13. P. 89–101).

Указывая на предпочтительность мирной трансформации российского общества, П. Г. Виноградов ставил ее в зависимость от правительственной политики. Отсутствие политической воли к изменению существующего положения дел привело историка к признанию вины центральной бюрократии за то, что были упущены все имевшиеся с момента создания земств возможности изменения политического порядка в стране. В конечном счете действия центральной бюрократии были одной из главных причин радикализации требований лидеров общественности, что грозило революцией.

### III

На развитие событий в России в 1905 г. П. Г. Виноградов откликнулся рядом статей, среди которых выделялись «Политические письма» и «17-го октября 1905 года», где была изложена личная программа политических изменений в России, близкая октябристам<sup>21</sup>.

Выступая против административного латания государственной машины, П. Г. Виноградов в то же время предостерегал против упований на революцию. Свое собственное место в расстановке политических сил он видел в либеральной центристской группе, представители которой стремятся «к свободе, к активному патриотизму, к раскрытию и врачеванию общественных недугов, но не желающих переворота всех отношений, разрыва с национальным прошлым, рискованной игры неизвестными политическими силами»<sup>22</sup>. При этом им отчетливо осознавалась сложность положения центристов, которые приобретают «решительное значение» на завершающей стадии социальных преобразований, в то время как на начальных этапах преобладает увлечение радикализмом. Таким образом, П. Г. Виноградов отмежевывался от позиции своих бывших соратников, группировавшихся вокруг «Освобождения».

Выделив три основные социально-политические силы в обществе – правительство, интеллигенцию и народ, он определил принципы анализа взаимоотношений между ними, взаимоотношений, от которых зависит политическая ситуация в стране. Выступая против контрастов в характеристиках этих сил, он стремился отметить не только слабые стороны каждой из них, но и достоинства. В своей основе анализ был направлен не на их размежевание, которое может привести к революции, а на поиск условий, которые позволят объединить их усилия в преобразовании общества. Обеспечить органическую трансформацию всего общества и каждой из составляющих его социально-политических групп может утверждение господства права в стране.

Знаком не только средневековой, но и новой истории, П. Г. Виноградов предпочитал развитию страны по пути Франции 1789 г. изменения, подобные произошедшим в Германии в 1848 г. Однако позиция историка не имела ничего общего с правительственной реакцией или консерватизмом славянофильского толка, что выражалось в его представлениях о возможном политическом устройстве России и полномочиях представительных учреждений. Россия должна была стать конституционной монархией. В решении задачи разграничения полномочий историк выступал с критикой как булыгинского проекта, так и предложений радикальной части либералов. В отличие от консерваторов в правительстве он считал невозможным предоставление представителям лишь права на совет и критику деятельности правительства. П. Г. Виноградов настаивал на конституционных полномочиях для русского народного представительства, закрепления за ним решающего голоса в выработке законов, утверждении бюджета и надзоре за правительственной деятельностью. Однако его позиция отличалась и от взглядов радикальной части либералов, возглавляемой П. Н. Милюковым<sup>23</sup>. Аргументация историка была направлена на поиск компромисса между противоборствующими сторонами, который

---

<sup>21</sup> См. ее подробный анализ в статье: Антощенко А. В. Политическая позиция П. Г. Виноградова в годы первой русской революции // Проблемы российской истории. М.: Магнитогорск, 2007. Вып. VIII. С. 61–78.

<sup>22</sup> Виноградов П. Г. Политические письма // РВ. 1905. 5 августа.

<sup>23</sup> Ср.: Волобуев О. В. Революция 1905–1907 гг. в публицистике русских буржуазных историков // ИЗ. Т. 102. М., 1978. С. 288–291. Наиболее обстоятельный анализ соотношения взглядов П. Г. Виноградова и В. И. Ленина на проблему перспектив первой русской революции см.: Sargeant E. Russian Liberalism versus Bolshevism: The Debate Between Vinogradoff and Lenin (1905–1907) // International Politics. 1996. Vol. 33. P. 341–371. Хотя общий контекст, как представляется, выбран не совсем верно, так как П. Г. Виноградов полемизировал не с В. И. Лениным, а с радикальными либералами. Сама исследовательница признает, что невозможно установить источники знаний П. Г. Виноградова об идеях большевиков в это время (Р. 347). К тому же последующие публикации П. Г. Виноградова 1905–1906 гг., которые не рассматриваются Е. Саргент, продолжают полемику именно с кадетами, среди лидеров которых было немало его бывших учеников.

должен был опираться на их благоразумие и понимание того, что распря между ними вредно отразится на интересах государства.

П. Г. Виноградов не разделял стремления радикальной части либералов ввести всеобщую и прямую подачу голосов при выборах российского парламента. При этом историк четко определял теоретические основания расхождения во взглядах. Он отмечал, что такой способ формирования представительства соответствует требованию справедливости и равенства удовлетворения стремлений отдельных лиц и групп, в то время как для него важнее было в данном случае требование целесообразности, объединяющее индивидуумов и общественные группы в прочное и жизненное целое. Именно этим определялось его отношение к вопросам об устройстве парламента и избирательной процедуры.

Как противник механистического взгляда на общество, П. Г. Виноградов особое внимание уделял историческим связям и местным общинам. Поэтому в случае формирования одной из палат российского парламента на основе всеобщего, равного, прямого и тайного голосования противвесом ей должна была стать палата, формируемая на основе представительства от земств, как гарантия против слишком смелых законодательных экспериментов. Тем самым опасности превращения парламентарских выборов в аукцион, «на котором возьмут верх люди, выкрикивающие самые громкие лозунги»<sup>24</sup>, противопоставлялась возможность использовать земства как школу политического воспитания масс. Выступая резко против сословного, имущественного или образовательного ценза, он в то же время высказывался в пользу двустепенности выборов с передачей их проведения уездным земским собраниям и городским думами. В отличие от западноевропейских стран, где шли по пути снижения имущественного ценза, в России следует развивать традиции земского самоуправления, повышая значение избрания гласных до уровня государственного. Таким образом, в «Политических письмах» П. Г. Виноградов сформулировал основные принципы, которые можно определить как концепцию земского либерализма, ставшую основой для его последующих политических выступлений.

Во время пребывания в России поздней осенью 1905 г. П. Г. Виноградов встречался с лидерами октябристов – А. И. и Н. И. Гучковыми и Д. Н. Шиповым. Хотя он отклонил предложение редактировать партийный орган «Слово», однако вскоре в газете появилась его статья, в которой излагались программные установки, корректирующие неудовлетворительный, с его точки зрения, проект программы «Союза 17-го октября»<sup>25</sup>. Не отрицая важности утверждения гражданских прав в России, историк предпочитал, чтобы это произошло не путем выработки конституции Учредительным собранием, а в результате принятия различных государственных актов и законов. Такой путь, напоминающий формирование неписаной конституции в Англии, был для П. Г. Виноградова явно предпочтительнее обращения к французскому опыту конца XVIII в.

Обеспечить сочетание изменений в обществе с верностью исторической традиции, по мнению историка, позволит широкая децентрализация управления, которая становилась ведущим пунктом его либеральной программы. Средством ее реализации являлось расширение прав земского самоуправления, введение его в регионах, где оно отсутствовало, демократизация избирательной системы их формирования. На земской основе должен решаться и вопрос о расширении прав национальных районов России. Нетрудно заметить, что большинство положений, сформулированных в статье Виноградова, нашли отражение в программе «Союза 17 октября»<sup>26</sup>.

Таким образом, расхождения П. Г. Виноградова с радикальной частью либералов проявлялись именно в различном определении способов утверждения гражданского общества с гос-

---

<sup>24</sup> Виноградов П. Г. Политические письма // РВ. 1905. 19 августа.

<sup>25</sup> См.: Fisher H. A.L. A memoir. P. 49.

<sup>26</sup> Ср.: Сборник программ политических партий в России. Под ред. В. В. Водовозова. Вып. 2. Б. м., б. г. С. 42–56.

подством права, в то время как меры преобразований, предлагаемых по аграрному или рабочему вопросу, в области финансовой политики или народного образования, существенно не отличались<sup>27</sup>. Поэтому его критика кадетов в 1 Думе касалась не столько программных положений сколько тактики кадетов<sup>28</sup>. Он считал, что их деятельность направлена на конфронтацию с правительством и устранение существующей власти, что рассматривалось им как революция. Не возражая по существу предложений кадетов, историк замечал, что их доктринерский характер и форма представления правительству делали их неприемлемыми для последнего. Так же дело обстояло с предложениями по амнистии и изменениям в аграрной сфере. Радикализм преобладающей части депутатов Думы должен был привести или к отставке правительства, или к роспуску представителей. Как известно, случилось последнее, хотя П. Г. Виноградов считал возможным создание кадетского правительства. Это был скорее тактический ход, так как, находясь у власти, кадеты должны были бы либо вести себя более ответственно, либо уйти в отставку в случае невозможности выполнить обещания.

Летом 1906 г. П. А. Столыпиным велись переговоры с лидерами октябристов о создании правительства, в котором портфель министра народного просвещения предлагался П. Г. Виноградову<sup>29</sup>. Однако он отказался. Объяснением отказа стал отрицательный ответ на вопрос, вынесенный в заголовок его статьи: «Возможно ли было образование либерального министерства?»<sup>30</sup> По мнению П. Г. Виноградова, правительство также оказалось неготовым к мирному обновлению, предпочтя привычно заняться «укрошением общества». Говоря о гипотетической возможности создания либерального кабинета, Виноградов считал, что необходимыми условиями для этого являются: обязательное соблюдение существующих законов впредь до их отмены в целях воспитания у граждан уважения к праву, скорейший созыв Думы для выработки бюджета, введение подобия процедуры *Habeas Corpus*, немедленная отмена специальных ограничений и карательных постановлений против евреев.

---

<sup>27</sup> Ср.: Виноградов П. Г. 17-го октября 1905 года // Слово. 1905.15 (28) ноября; Сборник программ политических партий в России. Вып. 1. С. 40–49.

<sup>28</sup> Vinogradoff P. The First Month of the Duma // Independent Review. 1906. Vol.X. №.34. P. 48–63.

<sup>29</sup> См. об этом: Старцев В. И. Русская буржуазия и самодержавие в 1905–1917 гг. Л., 1977. С. 112–120.

<sup>30</sup> Виноградов П. Г. Возможно ли было образование либерального министерства? // Московский еженедельник. 1906. № 20. С. 11–16.

## IV

Отказ от участия в правительстве очевидно определил отрицательный ответ П. Г. Виноградова на предложение бывших коллег по Московскому университету вернуться для преподавания в стенах *alma mater*. «Тем не менее Совет Университета, – писал в письме к нему 28 апреля 1906 г. давно и близко знавший его новый ректор А. А. Мануйлов, – остается при прежнем своем мнении о желательности Вашего возвращения в родной Университет как скоро обстоятельства позволят Вам принять его предложения»<sup>31</sup>.

Такие обстоятельства сложились после поездки историка в 1907 г. в Северо-Американские Штаты, где П. Г. Виноградов прочел лекции и провел семинарские занятия в Гарвардском и Колумбийском университетах, в университете Мэдисона (Висконсин)<sup>32</sup>. «Я не мог отказаться сделать для своего старого университета то, что я уже сделал в Америке»<sup>33</sup>, — писал Павел Гаврилович родным. Причина согласия определялась также восприятием им ситуации на родине. Позже историк охарактеризовал конец 1907 г. как период, когда в университетах «увлечение политической борьбой и беспокойство, при которых невозможны были исследовательские занятия, прекратились, и наступила пора серьезной академической работы»<sup>34</sup>. Перспективы, открывавшиеся в этой связи, позволяли отринуть некоторые сомнения, высказывавшиеся им в прошлом в ответ на просьбы коллег о возвращении<sup>35</sup>, хотя и не до конца. Поэтому П. Г. Виноградов принял решение: не оставляя кафедры в Оксфордском университете, где он преподавал два семестра, третий, дополнительный семестр посвящать московским студентам.

Возвращение П. Г. Виноградова в родной университет не могло не вызвать попыток вовлечь его в общественную деятельность. Правда, кратковременность пребывания не позволяла активно включиться в политическую борьбу, да он и не был ее сторонником. Его больше привлекала просветительская работа, поэтому он охотно откликнулся на предложение П. Б. Струве, с которым у него вновь установились добрые отношения, принять участие в так называемых «экономических беседах». Постепенно в них включились министерские чиновники среднего ранга. И хотя политические вопросы обычно «обходились» на этих собраниях, сама их атмосфера способствовала расширению взгляда на российское общество представителей промышленной буржуазии, осознанию их ответственности как его лидеров<sup>36</sup>.

Такие цели вполне соответствовали взглядам Виноградова, который выступал за сближение всех сословий и социальных групп путем их возможно широкого просвещения. Эта мысль стала лейтмотивом его выступления 1 октября 1908 г. на торжественном заседании Москов-

<sup>31</sup> ЦГИАМ, ф. 418, оп. 70, д. 563, л. 25 об.

<sup>32</sup> См.: Public Lectures Given in England and Foreign Countries // *Vinogradoff P. Col. Pap. Vol. 2. P. 498*; Paul Vinogradoff's letter to Seligman on April 20, 1907 // Columbia University Libraries. Rare Books and Manuscripts Library. Special Collections. Edwin R. A. Seligman's collection. См. также описание П. Г. Виноградовым своего пребывания в Америке в письме к М. М. Богословскому от 5 мая 1907 г. АРАН, ф. 636 (М. М. Богословский), оп. 4, д. 4, л. 13–13 об.

<sup>33</sup> Цит. по: Fisher H. A. L. A Memoir. P. 44.

<sup>34</sup> Виноградов П. Г. Университетский вопрос // Русские ведомости. 1909. 1 января.

<sup>35</sup> В письме к С. Н. Трубецкому от 18 января 1903 г., перлюстрированном полицией, П. Г. Виноградов писал: «...уезжая, я поставил и условие своего возвращения, быть может неосторожно, но поставил. Я говорил, что вернусь, если вы меня позовете, когда университет выйдет из своего жалкого подчинения министерской канцелярии и попечителю. Этого я и буду держаться в конце концов. Когда придет новый устав или если этот устав *будет возможным* (курсив мой. – А. А.), на что мы все надеемся, я вернусь в Московский университет по приглашению его профессоров, но не иначе. Не говорите, что это слишком отдаляет срок моего возвращения и что я нужен теперь. Возрождение университетов должно совершиться очень скоро, если оно вообще совершится, а при автономии-то как раз и понадобятся “люди, и энергия, и умения”. Но пока нет устава, мало ли что может случиться; все благие начинания могут развалиться как картонный домик, а в картонном домике не стоит устраиваться». ГА РФ, ф. 102, оп. 231 (1903), д. 196, л. 1 об.

<sup>36</sup> Pipes R. Struve: Liberal on the Right, 1905–1944. Cambridge (Mass.), 1980. P. 182–184.

ской городской думы, посвященном открытию университета А. Л. Шанявского<sup>37</sup>. Создание народного университета стало логическим продолжением той работы, которая велась под руководством П. Г. Виноградова еще в 1890-е гг. комиссией по организации домашнего чтения. В нем должна была воплотиться давняя мечта Павла Гавриловича об искании истины, свободной «от всяких официальных пут, от всяких профессиональных примесей, от всяких сословных ограничений». Отмечая демократизацию университетского образования в европейских странах и высоко оценивая опыт развития *University Extension* в Англии, П. Г. Виноградов ратовал за просвещение в России всех, кто чувствует в этом потребность. Причем народный университет не должен служить «образовательной лестницей», а быть средством формирования «научного мирозерцания».

Реализации идеи формирования научного мировоззрения у «третьего» и «четвертого» сословий были подчинены публичные выступления историка. В них он вновь обращался в опыту передовых европейских государств и прежде всего Англии. Прочитанная им в народном университете лекция «Господство права» содержала вполне прозрачный намек на необходимость установления в России такого же порядка, когда закон защищает права граждан и не оставляет места для чиновничьего произвола<sup>38</sup>. Лекционный курс о современной практике английских государственных учреждений также служил цели пропаганды современного опыта государственного устройства<sup>39</sup>.

Английский опыт оказывался кстати не только для подкрепления принципов широкого народного просвещения, утверждения господства права и совершенствования политического устройства России, но и в связи с решительными социальными преобразованиями, начатыми в деревне правительством П. А. Столыпина. Аграрная реформа, нацеленная на создание социальной опоры самодержавия путем создания крепкого крестьянского хозяйства в ходе разрушения общинного землевладения, являлась, с точки зрения Виноградова, проявлением партийного законодательства<sup>40</sup>. Не являясь сторонником сохранения общинной собственности на землю, Виноградов вместе с тем выступал против поспешности и необдуманности мер правительства, которым не предшествовало всестороннее изучение вопроса с общегосударственной точки зрения, как это обычно происходит в королевских или парламентских комиссиях в Англии.

Историк подчеркивал, что из закона о переходе от общинной к частной собственности не следует, что этот процесс нужно ускорять. Законодательство должно облегчить и разумно направить процесс распада общины, который в европейских государствах занял несколько столетий. Освобождение от общины, по его мнению, должно совершаться по собственной инициативе участников, без прямого или косвенного принуждения, без юридического насилия. Особо им отмечалась важность организации помощи тем, кто потеряет землю в ходе реализации реформы. При этом П. Г. Виноградов вновь ссылаясь на опыт Англии, где огораживание общинных земель сопровождалось законодательством Тюдоров о бедных.

Во время своих визитов в Москву в 1908–1911 гг. не обошел вниманием П. Г. Виноградов и вопросы начального образования, с которым была неразрывно связана его прошлая деятельность на посту председателя училищной комиссии Московской городской думы. Проводимые им уже в конце XIX в. меры по обеспечению общедоступности образования в Москве

<sup>37</sup> См.: Виноградов П. Г. О значении городского Народного Университет им. А. Л. Шанявского // РВ. 1908. 2 октября. О перипетиях создания университета см.: Исторический очерк возникновения и развития Московского Городского Народного Университета // Московский городской народный университет имени А. Л. Шанявского. М., 1914. С. 1–27; *Сперанский 77. В. Кризис русской школы. Торжество политической реакции. Крушение университетов*. М., 1914. С. 147–178.

<sup>38</sup> Лекция была опубликована как отдельная брошюра: Виноградов П. Г. Господство права. М., 1911.

<sup>39</sup> Лекции были опубликованы: Виноградов П. Г. Практика английских государственных учреждений // Лоу С. Государственный строй Англии. С вступительными замечаниями и статьей проф. П. Г. Виноградова. М., 1910. С. 3–50.

<sup>40</sup> См.: Виноградов П. Г. Партийное законодательство # Слово. 1908. 6 (19) декабря.

выражали сознание потребности во всеобщем начальном образовании в России, которое было характерно для передовой общественности. Сознание такой необходимости проникало и в правительственные круги, о чем неоднократно заявляли в Думе премьер-министры И. Л. Горемыкин и П. А. Столыпин<sup>41</sup>.

В области образования введение всеобщего начального обучения являлось насущным требованием, которое было очевидно, по оценке П. Г. Виноградова, для всякого наделенного здравым смыслом человека. Причем потребность в этом должна была рассматриваться с общественной точки зрения, что делало ее более важной, чем удовлетворение требований военного, морского ведомств, министерства путей сообщения и т. п., и что следовало осознать правительству и примыкающим к нему октябристским политикам. Поставив перед собой задачу рассмотреть вопросы о типах народной школы, о подготовке преподавательского персонала и о характере государственного и общественного воздействия в указанной области, историк замечал, что заимствование передового зарубежного опыта здесь должно ограничиться способами достижения цели и не затрагивать содержания обучения. Отмечая особо необходимость «так обставить учительский персонал материально и нравственно, чтобы члены его не стремились при всяком удобном случае бежать от ненавистной деятельности и чтобы ряды учителей пополнялись не людьми последнего разбора»<sup>42</sup>, П. Г. Виноградов указывал на те средства достижения этой цели, которые составляли содержание работы Педагогического общества при Московском университете и которым он содействовал в свое время на посту председателя училищной комиссии Московской городской думы<sup>43</sup>.

Не мог не откликнуться П. Г. Виноградов и на появление проекта нового университетского устава. В статье, опубликованной в газете московской профессуры, как обычно называли «Русские ведомости», историк подверг резкой критике основные положения предлагаемого министерством проекта<sup>44</sup>. По его мнению, предложения чиновников от просвещения были возвращением к худшим традициям университетского устава 1884 г., выразившим недоверие к представителям науки и отрицавшим право на автономию за университетскими корпорациями. В нынешних условиях, как подчеркивал историк, апеллируя к священному для бюрократии выражению монаршей воли, это противоречило высочайшему повелению 27 августа 1905 г. Его положения он интерпретировал как гарантию университетского самоуправления.

Первый номер в новом 1909 году «Русские ведомости» предоставили для обзора важнейших итогов года. Университетский вопрос в номере осветил П. Г. Виноградов. Оценивая общие итоги года в рамках исторической перспективы, он охарактеризовал их как наступление политической реакции, которая подрывала положительные тенденции, наметившиеся во второй половине 1907 г. в результате реализации высочайшего повеления 27 августа 1905 г. Реакционные меры историк связывал с назначением 1 января 1908 г. нового министра народного просвещения А. Н. Шварца, имя которого когда-то стояло рядом с именем Виноградова под петицией о восстановлении университетской автономии. Перечисляя признаки наступления реакции, он указывал прежде всего на конкретные факты, характеризующие тенденцию. Эти факты, взятые по отдельности, могли еще в результате противодействия профессуры превратиться в «комедию ошибок», как это было с циркулярами, когда слушательницам все же разрешили закончить их занятия и были восстановлены собрания старост, хотя и без централизирующих органов. Однако как тенденция они вели к таким тревожным последствиям, как разъяснение Сената о пределах университетской автономии. Именно в этом правовом по своей природе и последствиям факте П. Г. Виноградов видел наибольшую опасность.

<sup>41</sup> См. их выступления: Государственная Дума. Стенографические отчеты. Первый созыв. Сессия 1.4.1. Стлб. 321–323; Там же. Второй созыв. Сессия 1.4.1. Стлб. 109–119; 122–129; Там же. Третий созыв. Сессия 1.4.1. Стлб. 308–309.

<sup>42</sup> Виноградов П. Г. Школа и воспитание // HLSL MD SC. Vi no grad off's Papers, b.17, f.4, p. 10.

<sup>43</sup> См.: Антощенко А. В. Об общественной деятельности П. Г. Виноградова.

<sup>44</sup> Виноградов П. Г. Проект нового университетского устава. 1908. 17 октября.

Разъяснение Сената, по мнению П. Г. Виноградова, подрывало основы для самостоятельной деятельности профессуры. Характеризуя предложенный министерством проект университетского устава, он лишь повторил свою более раннюю оценку его как меры, направленной на то, чтобы «устранить совет как главный орган государственного управления и сделать ректора директором, а по отношению к студенчеству диктатором»<sup>45</sup>. Принятие такого устава вызовет скандал на всю Европу, заявлял П. Г. Виноградов.

Однако такие предостережения не могли остановить правительство, которое стремилось стабилизировать положение, не смущаясь реакционным характером применяемых мер, что не могло не вызвать грустных раздумий ученого. Перед поездкой в Россию в январе 1911 г. он писал дочери своего учителя Елене Владимировне Герье: «Как-то только сложится предстоящий семестр? Судя по всему, не обойдется без беспорядков, а может быть, и мероприятий сверху. Такой заколдованный круг русской жизни, из которого она, по-видимому, на нашем веку не выбьется»<sup>46</sup>. Опасения П. Г. Виноградова были вполне обоснованными. Реакционные меры министра народного просвещения Л. А. Кассо вызвали массовый протест профессоров Московского университета, заявивших о своей отставке. Среди профессоров, поддержавших своей отставкой коллег по корпорации, был и Павел Гаврилович Виноградов<sup>47</sup>, покинувший родной университет теперь уже навсегда.

---

<sup>45</sup> Там же.

<sup>46</sup> Письмо П. Г. Виноградова к Е. В. Герье от 14 января 1911 г., ф. 2432, оп. 1, д. 433, л. 2.

<sup>47</sup> РГИА, ф. 740, оп. 7, д. 445, л. 193; оп. 17, д. 48, л. 9.

## V

Начало 1914 г. если и обещало значительные события в жизни П. Г. Виноградова, то скорее связанные с его академической работой. Интересная и весьма плодотворная поездка в Индию, где ученый прочел лекции в Калькутском университете о племенном праве и собрал в результате изучения литературы и непосредственных наблюдений новый материал по данной проблеме, возвращала его к мысли о большом сравнительном исследовании по историческому правоведению<sup>48</sup>. На обратном пути в Европу он получил приятное известие об избрании его членом Российской Академии наук. Благодаря в письме А. С. Лаппо-Данилевского за поддержку, Павел Гаврилович планировал: «Если буду в России 1 сентября, как предполагаю, не премину приехать в Петербург, чтобы представиться новым товарищам»<sup>49</sup>. Однако реализации этого намерения помешала начавшаяся Первая мировая война, заставшая историка в Англии.

Созданный вскоре после начала войны Центральный комитет для национальных патристических организаций обратился к выдающимся представителям интеллектуальной элиты Великобритании с призывом читать лекции и писать о причинах войны с целью оправдания «как исторически, так и морально английской позиции в борьбе». Главной аудиторией этих пропагандистов должны были стать не мало просвещенные массы простых людей, а образованные омневающиеся<sup>50</sup>. В этих условиях П. Г. Виноградов счел необходимым для себя включиться в эту работу, чтобы рассеять у либерально мыслящих англичан сомнения в необходимости союза с Россией, которые порождались представлением о ее культурной отсталости и о политическом деспотизме, господствующем в ней<sup>51</sup>.

Его первым публицистическим выступлением в период войны стала статья «Россия: психология нации», появившаяся 14 сентября в «Таймс», а затем изданная как брошюра в серии «Оксфордские памфлеты» с переводом на ряд языков стран, тяготевших к Антанте. В духе объективистского подхода, характерного для оксфордских памфлетов, историк пытался оправдать цели России в войне. Объективность и беспристрастность суждений обосновывались, во-первых, его знанием истории и культурной жизни всех противоборствующих стран, а во-вторых, его оппозиционностью к самодержавной власти в России. Однако, несмотря на прокламируемый подход, как всякое пропагандистское произведение, статья имела своей сверхзадачей формирование привлекательного для англичан облика союзника-России и отталкивающего образа врага-Германии на основе противопоставления этих двух стран.

Учитывая высокую оценку кембриджской профессурой культурных заслуг немцев в развитии европейской цивилизации, П. Г. Виноградов сосредоточил огонь критики на обосновании германской пропагандой целей войны ссылкой на необходимость борьбы с отсталостью и деспотизмом России. В его представлении действия Германии становились аморальными, так как основывались на неблагодарном забвении той роли, которую сыграла Россия в освобождении немецких государств от наполеоновских войск, сохранении монархии Габсбургов в 1849 г. и поддержке Германии «доброжелательным нейтралитетом» в 1870 г. Пропаганда насилия в книге Бернгарди и отдельные примеры жестокости немецких войск в отношении мирных жителей использовались Виноградовым, чтобы подчеркнуть нарушение норм христианской морали действиями «завоевателя». Хладнокровному варварству немецкой нации про-

<sup>48</sup> См.: *Fisher H. A. L. A Memoir*. P. 52–57; Конспекты и наброски в тетради, которую П. Г. Виноградов вел в Калькутте: HSL MD SC. Vinogradoff's Papers, b. 22, f. 5.

<sup>49</sup> Письмо П. Г. Виноградова к А. С. Лаппо-Данилевскому от 15 марта 1914 г. //СПбФ АРАН, ф.113 (А. С. Лаппо-Данилевский), оп.3, д. 91, л. 23.

<sup>50</sup> См. подробно: *Marwick A. The Deluge. British Society and the First World War*. London, 1965. P. 45 и сл.

<sup>51</sup> См. о формировании такого образа у англичан в предвоенный период: *Neilson K. Britain and the Last Tsar. British Policy and Russia, 1894–1917*. Oxford, 1995. P. 88–96.

тивопоставлялась христианская добродетель простого русского народа – смиренное терпение, являвшее собой то величие духа, которое способно противостоять любому насилию.

Понятие «дух нации», который оберегает безопасность и величие Англии, стало основой для сближения образов союзных держав. Наглядный для англичан образ «единой Англии» позволял воспринять как реальность и формируемый Виноградовым образ «единой России», забывшей на время войны о политических разногласиях и национальном угнетении. Ссылка на тот факт, что в Великобритании распри между противниками и сторонниками гомруля отступили на задний план перед сознанием необходимости объединить усилия в защите общей родины, делала в глазах англичан более убедительными указания на готовность к подобным действиям либералов в России и даже российских революционеров за границей.

Образы объединенных общностью «национального духа» Англии и России позволяли показать отсутствие разумной основы во внешней политике и дипломатии Германии, надеявшейся при подготовке войны на внутренний раскол в них. Неприглядная «глупость» дополнялась указанием на цинизм немецких политиков в отношении международных соглашений и обязательств, что позволяло П. Г. Виноградову без каких-либо резких выражений представить англичанам весьма нелестный портрет «культурной нации». Усилению привлекательности образа «единой России», которой принадлежит не меньшая чем Германии заслуга в развитии европейской культуры, должны были служить указания на исторические тенденции политических изменений в стране и достижения в литературе, искусстве и науке. По убеждению П. Г. Виноградова, Россия, вступившая на путь современного политического развития позже Пруссии и Австрии, достигла значительных успехов после реформ 1860-х гг. Объединение всех слоев общества вокруг национального лидера – императора – выступало залогом того, что период реакции, наступивший после революции 1905 г., завершен и страна находится на пороге духовного, а значит и политического обновления. Перечисление имен выдающихся русских писателей, художников и ученых подкрепляло «культурные основания» такого национального возрождения. Суть его наиболее полно представляли лидеры общественного мнения, взгляды которых выражали миролюбие, космополитизм и гуманизм русской интеллигенции.

Включившись в пропагандистскую кампанию, направленную на формирование привлекательного в глазах англичан образа России, историк был вынужден подчиниться ее правилам и внутренней логике. Это проявилось вполне отчетливо в последующих публичных выступлениях. В ноябре журнал «Йель ревью» опубликовал основные положения лекций, прочитанных историком в Шеффилде и Ноттингеме. Обращаясь к «образованным сомневающимся», он вновь пытался показать, что Россия ненамного отстала в культурном и политическом развитии от своих западных соседей. Рассмотрение современного состояния политики и культуры страны «в свете истории Европы», особенно восточной ее части, позволила историку обратиться к ранее сформулированным им представлениям о распространении социального прогресса и опереться тем самым на «исторические законы». Зарождаясь в районах со сложными береговыми линиями – в дельтах рек, на островах и полуостровах, – социальный прогресс, по мысли П. Г. Виноградова, постепенно распространялся на континентальные массивы. В этом процессе заимствование играло весьма важную роль, причем воспринимающие цивилизацию народы могли обогатить ее и пойти в своем развитии быстрее и дальше, чем те, кто породил или передал ее достижения. В новой истории французы заимствовали политические идеи у итальянцев, англичане – у французов, немцы – у англичан и французов, русские – у немцев.

Такой ход развития позволял увидеть общее в исторически сложившемся государственном устройстве и современных политических изменениях в Австрии, Германии и России. Все эти государства, решая задачи колонизации и обороны, добились успехов больше в деле укрепления дисциплины и военной мощи, нежели личной свободы. Формирование «остановившегося в своем развитии» конституционализма в Пруссии и Австрии, подталкиваемое с середины XIX в. революциями, военными поражениями или победами, давало Виноградову обильный

материал для сравнения и общего вывода, что Россия с 60-х гг. XIX в. шла тем же путем и объединение общества в победоносной войне приведет к политическому обновлению страны<sup>52</sup>.

Эмоциональность личного восприятия стала одним из важных средств в убеждении английской публики в «огромной силе самоуправления и независимой деятельности» общественных организаций «за фасадом официальной иерархии», о чем писал П. Г. Виноградов в апреле 1915 г. по возвращении из поездки в Москву и Петроград в статье «Визит в Россию»<sup>53</sup>. Характерно, что в ней под влиянием неблагоприятных для англичан слухов о возможности сепаратного мира между Россией и Германией он стремился уже не к сближению черт их политического быта, а напротив – к противопоставлению. Сознательное объединение всех социальных слоев в работе земского и городского союзов, добровольных общественных организаций, кооперативов, народное единение, связывающее фронт и тыл, не имело ничего общего с принудительной организацией и дисциплиной прусского образца. Идея сепаратных переговоров могла быть поддержана лишь теми реакционерами и консерваторами, которые боялись, что союз с великими демократическими державами подорвет традиции бюрократического управления, сложившиеся за долгие годы дружбы России и Пруссии. Чтобы нагляднее представить англичанам спонтанную и органическую мобилизацию русского общества, П. Г. Виноградов обращался к образам «Англии в хаки» и «России Красного Креста», которые вызывали ассоциации силы с жертвенностью и христианской добродетелью.

Из статьи вырос целый лекционный курс «Местное самоуправление в России», читавшийся историком в Кембридже, Лейчестере, Лондоне и опубликованный в 1915 г.<sup>54</sup> Здесь уже аргументация носила строго научный характер, раскрывая исторические корни явления и убеждая читателя магией сухих цифр и логикой доказательств в том, что «активное и патриотическое общество желает и готово внести свой вклад в возрождение политической системы»<sup>55</sup>.

Относительно правительства П. Г. Виноградов вновь высказывался с учетом условий войны и с оглядкой на пропагандистские цели. Инстинкт самосохранения нации требовал, по его мнению, объединения ее вокруг исторического лидера, что делало недопустимым антимонархическую, антидинастическую агитацию. Тем самым проведение средней линии в управлении, крайними максимумами которого при монархии являлись известные формулы «*Le roi règne, mais ne gouverne pas*» и «*l'État c'est moi*», ставилось в полную зависимость от государственной мудрости и доброй воли царя.

Преобразования требовались в отношении Государственной думы, как считал П. Г. Виноградов. Изменение закона о выборах ее депутатов, возвращался он к своим мыслям 1905 г., должно было предусматривать не реализацию требований «четыреххвостной формулы», а, возможно, ценз домовладения или проведение выборов в два этапа. Верность своим взглядам П. Г. Виноградов хранил и в отношении верхней палаты, которая должна была состоять из представителей «общественных органов и интересов», а именно – губернских земских управ, профессиональных и экономических организаций. Формирование кабинета не могло быть предоставлено ведущим политическим партиям, поскольку это прерогатива царя, но министры «должны по крайней мере выбираться таким образом, чтобы не пренебрегать ясно выраженным общественным мнением»<sup>56</sup>. Так в мягкой форме высказывалась мысль, вполне созвучная формуле «министерства доверия», которой впоследствии руководствовался «Прогрессивный блок». Нетрудно заметить, что вся программа П. Г. Виноградова, с включением в нее положений об ограничении произвола бюрократии, об утверждении господства права

---

<sup>52</sup> Vinogradoff P. The Russian Problem // Yale Review. ns. 1914. Vol. 14. No. 1. P. 271.

<sup>53</sup> См.: Vinogradoff P. A Visit to Russia // Quarterly Review. 1915. No. 443. P. 544–554.

<sup>54</sup> Vinogradoff P. Self-Government in Russia. London, 1915. См. также очень сжатый очерк в «Таймс»: Vinogradoff P. Rise of the Zemstvos // The Times Russian Supplement. 1915. April 26. P. 3.

<sup>55</sup> Vinogradoff P. Self-Government in Russia. P. 118.

<sup>56</sup> Ibid. P. 281; Vinogradoff P. Rise of the Zemstvos.

и гражданских свобод, об уравнивании в правах евреев и т. д., в основных своих положениях предвосхищала программные заявления этого думского объединения. Его предостережение от упования на силу «иерихонских труб», обращенное к лидерам кадетов, в условиях «священного единения» в начальный период войны было излишним<sup>57</sup>. Профессор мог быть доволен действиями своих бывших учеников – А. И. Гучкова и П. Н. Милюкова, которые, как могло ему казаться, усвоили его уроки, отказавшись от партийных пристрастий и объединив возглавляемые ими партийные фракции в Думе вместе с националистами в «Прогрессивный блок». Однако умеренная политика блока, как известно, не дала ожидаемых результатов. Прекращение очередной сессии Думы 3 сентября 1915 г. и последовавшие за этим действия правительства могли вызвать только возмущение историка, у которого и до этого нередко «кровь закипала от чувства негодования, что русский народ, который с такой готовностью жертвует собой, который так величественно выступил на защиту своей страны, вынужден находиться в руках людей, которые стремятся сохранить классовые привилегии, деспотическое правление и всякого рода гонения»<sup>58</sup>.

Разочарование в возможности повлиять советом на изменение политической ситуации к лучшему привело его к отказу от каких-либо публичных выступлений в английской прессе или в университетских аудиториях по вопросам внутренней политики России. Это отнюдь не означало разрыва с родиной, куда он ежегодно приезжал, где выступал с лекциями и со статьями в печати.

Деятельность П. Г. Виноградова в военные годы не ограничивалась публицистическими выступлениями, направленными на укрепление взаимопонимания между народами союзных держав. Еще в апреле 1915 г. после первого посещения родины во время войны П. Г. Виноградов писал: «Кровь людская не водица; и, как русский, я остро чувствовал желание вступить в непосредственное соприкосновение с русским обществом, узнать о его нуждах и целях, сообщить новости из Англии и, возможно, помочь делом и советом»<sup>59</sup>. Такая возможность помочь не только советом, но и делом представилась историку, когда в августе 1915 г. по инициативе графини Бенкендорф, жены посла России в Великобритании, в Лондоне бы создан Комитет помощи русским военнопленным. П. Г. Виноградов с готовностью откликнулся на предложение выполнять обязанности его почетного секретаря.

Активная пропагандистская кампания привлекла внимание не только англичан. Среди жертвователей были: общества Британского, Канадского и Австралийского Красного Креста, церкви, предприниматели и фирмы, Lady Paget's Russian Day Fund (специальный фонд по проведению Дня России в Великобритании, сборы от мероприятий которого пошли на покупку необходимого пленным), военный журнал «Хаки», Шеффилдский фонд военной помощи и др. Средства поступали не только из Британии, но и даже от жителей Гибралтара и Цейлона. За год (к 1 июля 1916 г.) было собрано более 67669 ф. ст.<sup>60</sup>

Собранные деньги направлялись на закупку продуктов питания (прежде всего хлеба, сухарей и сахара), а также табака, просьбы о присылке которых содержались в большинстве

---

<sup>57</sup> В 1906 г. в статье «Московского еженедельника» П. Г. Виноградов использовал этот библейский образ для критики лидеров кадетской партии и прежде всего П. Н. Милюкова. После визита в Англию в 1909 г. разногласия были сняты в значительной степени заявлением Павла Николаевича, что кадеты представляют «оппозицию Его Величества, а не оппозицию Его Величеству» (см.: *Pares B. My Russian Memoir.* London, 1931. P. 203; *Idem. A Wandering Student: The Story of a Purpose.* New York, 1948. P. 168). Формально восстановление личных добрых отношений между Виноградовым и Милюковым произошло во время визита последнего в Англию в 1916 г. См.: *Miliukov P. Political Memoirs: 1905–1917.* P. 371; *Милюков П. Н. Воспоминания.* М., 1990. Т. 1. С. 231.

<sup>58</sup> Crucible. New Liberating Movement. Interview with Professor Paul Vinogradoff of Oxford University by Percy Alden, M. P. // HSL MD SC. Vinogradoff's Papers, b. 7, f. 8. Установить газету, в которой было опубликовано данное интервью, пока не удалось.

<sup>59</sup> *Vinogradoff P. A Visit to Russia.* P. 544.

<sup>60</sup> *Kharitonoff P. Eating the Bitter Bread of Banishment // Graphic.* September 23, 1916. p. 364.

писем от военнопленных. «Милостивый Комитет, – писал один из них. – Я Никифор Фомин православный нахожусь в плену в Германии 20 месяцев и помощи ни от куда не имею; а потому осмеливаюсь просить Комитету в помощи мне в съестных продуктах. Так как крайне нуждаюсь»<sup>61</sup>. При посредничестве Бернского (Березников) и Гаагского (В. А. Шелгунов) комитетов помощи узникам войны Лондонский комитет обеспечил постоянным дополнительным питанием русских пленнх тринадцати больших лагерей в Вестфалии, Ольденбурге, Мекленбурге, Ганновере и отчасти Бранденбурге, в которых содержалось более 100 000 человек.

Помимо централизованных поставок продовольствия многие англичане хотели лично отправлять посылки, для чего запрашивали у П. Г. Виноградова адреса лагерей. В одном из упоминаемых историком писем парализованная женщина писала, что она хочет откладывать два-три шиллинга в неделю, чтобы отправлять по одной посылке английскому и русскому солдату, попавшим в плен. Школьники из Фонтхила посылали подарки русским пленным в лагерь Доберитц<sup>62</sup>. Всего около 200 жителей Великобритании персонально отправляли посылки более чем 800 русским солдатам, оказавшимся в плену.

«Не хлебом единым жив человек» – истинность этой библейской мудрости с особой силой продемонстрировала война. Вместе с обращениями о помощи продуктами в письмах в Лондонский комитет направлялись и просьбы прислать «книжек популярного содержания, произведений русских классиков для грамотных обитателей лагеря»<sup>63</sup>. Эту работу взял на себя комитет, созданный при Лондонской библиотеке, возглавил который библиотекарь доктор Г. Райт. На собранные комитетом 415 ф. ст. были закуплены книги прежде всего элементарного содержания, по которым можно было обучаться грамматике, арифметике, основам других знаний. Такой подход был полностью оправдан, поскольку, по данным анкетирования, проведенного в лагерях русской секцией Женевского общества защиты узников войны, от 30 до 60% русских военнопленных были неграмотны<sup>64</sup>. В дополнение к приобретенным комитетом изданиям около 1500 книг поступило от сочувствующих делу помощи русским военнопленным<sup>65</sup>.

---

<sup>61</sup> Письмо Н. Фомина в Лондонский комитет помощи русским военнопленным от 20 апреля 1916 г. // HLSL MD SC. Vinogradoff's Papers, b. 1, f. 2. Орфография источника сохранена.

<sup>62</sup> Copy of a letter from M. Ivanoff to Jefferson. November 27, 1915 // Ibid.

<sup>63</sup> Письмо М. Выгодского к П. Г. Виноградову от 20 сентября 1915 г. // Ibid.

<sup>64</sup> Письмо А. Полякова к П. Г. Виноградову от 12 мая 1916 г. // Ibid.

<sup>65</sup> *Kharitonoff P. Eating the Bitter Bread of Banishment. P. 364.*

## VI

Начало Февральской революции 1917 г. П. Г. Виноградов наблюдал собственными глазами в Петрограде, находясь здесь как председатель исполнительного комитета Российско-английского общества для организации лекций о сотрудничестве союзников в ходе войны. Революционные события в России оказались полной неожиданностью для англичан, для которых известия о них прозвучали как «гром среди ясного неба»<sup>66</sup>. Общий подход к происходящему в России, не зависевший от политической ориентации изданий, определялся тем, что события в Петрограде оценивались с позиции их влияния на возможности союзницы по Антанте вести успешные боевые действия против общего противника. Именно через призму такого подхода анализировались взаимоотношения между Временным правительством и Советами. Причем стремление последних активно влиять на правительственную политику вначале отнюдь не вызывало резких протестов даже консервативной прессы, поскольку в самой Англии представители лейбористской партии входили в состав «военного» кабинета министров. Важнее был вопрос о легитимности и устойчивости Временного правительства и перспективах развития двоевластия.

С учетом этих мнений освещал ход событий П. Г. Виноградов. Прежде всего историк выступил против утверждения о неожиданности революции. «Ничего не могло быть более постепенного и неизбежного, чем нарастание революционного духа в России»<sup>67</sup>, — заявил он. Позже на страницах «Британской энциклопедии» П. Г. Виноградов в деталях развил это положение, заключив, что «разложение бюрократической системы управления, запутанность внешней политики империи, распространение экстремистских настроений среди образованных классов, нищета и недовольство простого народа»<sup>68</sup> сделали революционные потрясения неизбежными для России.

Главным виновником революции являлось царское самодержавие, отгородившееся от общества придворной камарильей, отмечал историк. Он возражал попыткам некоторых консервативных английских газет показать его положительную роль в предотвращении гражданской войны в стране. П. Г. Виноградов достаточно убедительно доказал, что царь предпочел опереться на бездарную бюрократию, а не общественность, лидеры которой стремились к компромиссу на основе умеренной конституционной монархии, а отнюдь не к республиканскому устройству. Подчеркнуть стремление и готовность лидеров либерального блока, объединяющего кадетов, октябристов и националистов в IV Государственной думе, к сотрудничеству было важно для П. Г. Виноградова не только в силу его приверженности этой идее, но и для того, чтобы создать благоприятное мнение у англичан о думском большинстве. Компромисс, считал он, был отвергнут как из-за слепоты монарха, так и цинизма влиятельных бюрократов, не способных справиться с нарастающими проблемами и надеявшихся силой оружия подавить выступления. «Секретная служба Протопопова хотела бунтов, — писал П. Г. Виноградов, — а вместо этого получила Революцию»<sup>69</sup>.

Главный вывод, к которому пришел историк, звучал так: «Республика стала неизбежной формой управления для Новой России»<sup>70</sup>. Отметим, что П. Г. Виноградов считал более приемлемой для России «французскую модель» с шести- или семилетним президентством и ответственным парламентским кабинетом, нежели «американскую модель», с ее порождающей

---

<sup>66</sup> См.: *Arnot R. P.* The impact of the Russian revolution in Britain. London, 1967. P. 9.

<sup>67</sup> *Vinogradoff P.* Some Impressions of the Russian Revolution // *Contemporary Review*. 1917. Vol. CXI. No. 115. P. 553.

<sup>68</sup> *Vinogradoff P.* *Russia Encyclopaedia Britannica*. 12th edition. 1922. Vol. XXXI. p. 309.

<sup>69</sup> *Ibid.* P. 555.

<sup>70</sup> *Ibid.* P. 558.

тупики теорией разделения властей, преувеличенной независимостью исполнительной власти и частыми выборами. Главным препятствием для использования американского опыта он считал неприемлемость для российской ситуации принципа федерализма, который являлся одним из базовых оснований американской демократии. Это свидетельствовало о неизжитых унитаристских взглядах П. Г. Виноградова и отсутствии у него четкого ответа на вопрос о путях решения национального вопроса в России.

Свою приверженность республиканскому устройству историк затем неоднократно подтверждал даже во времена, когда в стране разгорелась гражданская война и в лагере поддерживаемых им морально белогвардейцев усилились реставрационные настроения<sup>71</sup>. Это требует корректировки оценки его политических взглядов как монархических. Сторонник органической эволюции общества, историк неоднократно отмечал, что наиболее благоприятным путем политического переустройства России было бы постепенное введение конституционной монархии. Революционные потрясения, причина которых в России заключалась в патологической неспособности старого режима изменить что-либо к лучшему в стране, воспринимались им скорее как неизбежное зло, нежели как сознательное творчество нового, более прогрессивного общественного порядка. Не случайно П. Г. Виноградов называл революцию переходом к нормальному состоянию общества<sup>72</sup>. Поэтому угрозу новой России он видел не в контрреволюции, а в деструктивных элементах. Устремлениям радикальных социалистов, перед которыми возникал искушение воспользоваться плодами революции в узкоклассовых интересах, мог противостоять лишь крепкий союз конституционных партий (октябристов и кадетов прежде всего), которые должны были приступить к социальным реформам при поддержке умеренных социалистов.

Требованиям «демократического давления» на Временное правительство со стороны Советов и опасностям двоевластия П. Г. Виноградов противопоставлял идею расширения социальной базы Временного правительства. Широкою общественную поддержку правительству могли обеспечить земства. Необходимость такого подхода к российским делам Виноградов вновь подтвердил в статье, помещенной в либеральной «Новой Европе». В ней историк отмечал, что союз с «западными демократиями» является залогом не только победы над Германией и ее союзниками, но и условием либерального развития российского общества. Такая жесткая связь возможностей либеральных преобразований в России с участием ее в войне на стороне Антанты породила довольно своеобразную логику суждений П. Г. Виноградова. Если самодержавие осуждалось им за то, что пожертвовало цивилизацией и правовым порядком ради сохранения бесплодных завоеваний и угнетающего господства, то революционные экстремисты – за стремление положить конец роли России как великой державы путем поддержки ее распада и отказа от национальной истории ради интернациональных мечтаний. Желание мира становилось как бы несовместимым с либеральными изменениями в обществе, поэтому вполне логичным было приветствие тех социалистических фракций, которые становились по вопросу о продолжении войны в один ряд с буржуазными партиями. В этих оценках, как и в отношении к федерализму, можно заметить пункты, ослаблявшие либеральную программу Виноградова. Во-первых, непонимание негативного отношения к войне общества в целом породило иллюзию, что достаточно устранить неурядицы, созданные бездарным управлением царских чиновников, и она будет успешно завершена. Во-вторых, переоценка значения внешнего фактора для либеральной эволюции российского общества практически лишала этот процесс внутренних оснований.

---

<sup>71</sup> Ср.: Виноградов П. Г. «За» и «против» республики/Публ., предисл. и ком. А. В. Антощенко // ИА. 1991. № 2. С. 53–62; Vinogradoff P. Prospects in Russia // Contemporary Review. 1919. Vol. CXV. P. 606–612.

<sup>72</sup> [Конспект лекции] // HSL MD SC. Vinogradoff's Papers, b. 22, f. 6, p. 47.

Правда, последнее положение отчасти преодолевалось указанием на возможности активной работы городского и земского самоуправления по преобразованию социального порядка, а также на потенциальную поддержку демократической власти и порядка «весомым голосом» крестьянства, которое «менее крикливо, менее распропагандировано, менее подвижно, чем городские рабочие»<sup>73</sup>. Однако основным пафосом статьи была мысль о необходимости интеллектуального общения Англии с Россией, которое должно вытеснить германское влияние и содействовать продвижению последней по пути либеральных преобразований.

Вновь к освещению положения в России П. Г. Виноградов обратился во время июльских событий. Историк вновь подтвердил свой вывод о всенародном характере революции. «Мы и они» – так он определил размежевание в дореволюционной России между народом, с одной стороны, и самодержавием и бюрократией, формировавшейся по принципу «исключения лучших», с другой. Возвращаясь к резким критическим оценкам бюрократии, звучавшим из его уст, начиная с лекций в Кембридже в 1902 г., П. Г. Виноградов особенно подчеркивал германское проникновение в ее среду, приобретшее «пропорции и вид иностранного завоевания»<sup>74</sup>. Рассматривая нарастание антагонизма между обществом и властью, он намечал традицию освободительного движения, идущего от декабристов через идеалистов 1840-х гг. (славянофилы и западники) к деятелям пореформенного периода, среди которых постепенно произошло размежевание на радикально настроенных социал-демократов, опирающихся на доктрину марксизма, и умеренных, активно работающих над практическим строительством новой России в рамках земств.

Дальнейшее смещение акцентов под влиянием июльских событий можно заметить в статье «Некоторые элементы российской революции», которая развивала конспективный набросок предшествующей публикации. Среди элементов революции были названы бюрократия, интеллигенция и крестьянство. Рабочим же, которым им отдавалось должное в успешной борьбе на улицах Петрограда весной, теперь не нашлось места из-за небольшого объема статьи и того факта, что «городской пролетариат, хотя и находится на переднем плане сейчас, возглавляется интеллигенцией и зависит от конечной поддержки крестьянского большинства населения»<sup>75</sup>. В целом значение уличных боев в осуществлении революции, как считал П. Г. Виноградов, должно отступить на второй план перед либеральным земским движением, которое было основой думской оппозиции, развивавшейся от реформаторства к революции.

П. Г. Виноградов подтвердил свою мысль о том, что «самоуправная бюрократия страдала моральным недугом задолго до крушения в 1917 г.», уступая влияние интеллектуалам. Поэтому он сосредоточил свое внимание на отношениях внутри интеллигенции и связях последней с народом. Объединяющим элементом, сплачивающим все слои населения России в позитивной работе по переустройству общества, историк считал ту часть интеллигенции, которая связала свою судьбу с земским движением. К ним примыкали умеренные социалисты, дорожившие чувством патриотизма. Наибольшую опасность представляли радикально настроенные социал-демократы, в оценке которых теперь звучал тот же мотив пособничества Германии, что совсем недавно он использовал при оценке бюрократии. «Российские экстремисты, опьяненные их победой над царизмом, находят возможным поднять знамя восстания против средних классов и правительств Европы, вопреки факту, что тем самым они помогают спасти от уничтожения единственное реально опасное и агрессивное правительство»<sup>76</sup>.

Экстремизму социалистических радикалов и городских рабочих, как полагал П. Г. Виноградов, могло противостоять крестьянство. Критически оценивая результаты освобождения

---

<sup>73</sup> Ibid. 330.

<sup>74</sup> Vinogradoff P. The Liberation Movement in Russia // Manchester Guardian. 1917. July 7.

<sup>75</sup> Vinogradoff P. Some Elements of the Russian Revolution // Quarterly Review. Vol. 228. № 0.452. 1917. P. 184.

<sup>76</sup> Ibid. P. 193.

крестьян в 1861 г. и особенно проведение аграрных преобразований Столыпиным, которые стали прологом к революции, историк уповал на нравственные силы народа, которые неоднократно проявлялись в истории и спасали Россию. В такой туманной надежде вновь проявлялись слабости его либеральной позиции. Органическое видение исторического процесса, при котором общество представлялось как целостный организм, не позволяло историку заметить реальные особые интересы крестьянства.

Указание на моральные качества народа имело большое значение для П. Г. Виноградова в связи с тем, что он видел культурную пропасть, которая разделяла народные массы и интеллигенцию. Это создавало угрозу принятия народом лозунгов борьбы с буржуазией, средним образованным классом, который со времен петровских реформ воспринимался в народном сознании как чужеродное явление (отметим, что Виноградов отождествлял средний класс и интеллигенцию). Поэтому неудивительно, что в августе, накануне проведения Всероссийского поместного собора, он писал о необходимости глубокой церковной реформы в России. Она должна была содействовать сближению мировосприятия народа и интеллигенции<sup>77</sup>. Немалые надежды возлагались им на московское совещание, которое историк оценил как начало понимания «многими, если не всеми, что пришло время прекратить „разрушительную работу революции“ для того, чтобы собрать воедино ее положительные достижения»<sup>78</sup>. В таком взгляде было больше надежды на поворот к лучшему, чем трезвого понимания ситуации в стране, надежды, которой не суждено было сбыться. Захват власти большевиками был незаконен и вел к полному разрушению государства, а значит и гибели России, считал П. Г. Виноградов.

Таким образом, в оценках П. Г. Виноградовым революционных событий в России 1917 г. проявились особенности его мировоззрения и положения добровольного эмигранта. Для их правильного понимания нужно учитывать то, что, во-первых, это был «взгляд из Англии». В своем стремлении повлиять на складывание благоприятного общественного мнения у англичан о происходящем в России историк вынужден был учитывать другие подходы к событиям, появлявшиеся на страницах английской прессы. Во-вторых, его оценки определялись его политическими пристрастиями, о которых он открыто заявил еще в 1905 г., указав на близость своей позиции к октябристам. Сохраняя приверженность умеренному либерализму, П. Г. Виноградов, однако, под влиянием революции вносил коррективы в свою политическую программу. Наконец, в-третьих, рассмотрение им событий 1917 г. в России опиралось на органическое видение исторического процесса, при котором общество представлялось как эволюционно развивающийся организм, воплощающийся в национальном государстве. Такой взгляд допускал возможность лишь назревших и утвердившихся в общественном сознании политических изменений, которые не затрагивали бы основ существования государственности. Поэтому в оценке революционных событий «по горячим следам» можно увидеть не только эмоциональное отношение к ним, но и стремление раскрыть их исторические предпосылки, определить тенденции дальнейшего развития. За всем этим проглядывает вера П. Г. Виноградова в то, что революция будет протекать по историческим законам, зная которые можно определить ее рамки. Однако более глубокие социальные преобразования превращали революцию в стихийную силу, разрушающую органическую целостность общества и, как следствие, государственность. Именно с таких позиций он оценивал ход революции после прихода к власти большевиков.

В это время Павел Гаврилович сблизился с созданным в Лондоне обществом «Народоправство». Целью общества являлось объединение тех, кто отвергал большевистское правление, как ведущее к распаду российской государственности, кто поддерживал демократически

---

<sup>77</sup> См.: *Vinogradoff P. The Russian Revolution. Its Religious Aspect // Land and Water. 1917. August 2. P. 43–44.*

<sup>78</sup> *Vinogradoff P. Tasks of the Conference // Times. 1917. August 28.*

выбранное Учредительное собрание и считал республику надежной гарантией мирного и свободного развития России.

## VII

Гражданская война была для П. Г. Виноградова естественным продолжением революций 1917 г. Как историк, он стремился найти историческую аналогию для понимания современных событий. Ни Парижская коммуна, несмотря на кажущееся внешнее сходство, ни Великая Французская революция не могли служить ей. В первом случае силы разрушения не были столь значительны, как в России, где к относительно маленькому слою рабочих присоединились многочисленные крестьяне и деморализованные толпы солдат. Во втором – революционеры-монтаньяры были все же патриотами, тогда как «ленинцы осмеивают идею России и совершенно равнодушны к развалу страны»<sup>79</sup>. Историческая аналогия лежала в прошлом самой России. «Смутное время» – вот та призма, через которую смотрел на гражданскую войну историк<sup>80</sup>. Тем самым сутью явления становилось разложение социального организма и развал государственности. Причем опасность этого была значительно сильнее, так как немецкая агрессия (на начальном этапе гражданской войны) была страшнее польской интервенции XVII в., а духовные основы единства общества слабее из-за падения авторитета церкви.

В соответствии с таким подходом определялись глубинные психологические причины гражданской войны. Они крылись в разрыве культурного уровня наиболее образованного слоя русского общества и его основной массы, истоки которого восходили к петровским реформам и даже к допетровским временам никоновского раскола. Это позволяло определить гражданскую войну как восстание необразованных классов против образованных, которое было спровоцировано безответственной демагогической пропагандой большевиков, которых историк называл «*Calibans*»<sup>81</sup>. В историческом плане большевики были наследниками той радикальной части интеллигенции, которая с самого начала ставила перед собой лишь разрушительные задачи, ничего не делая для реального блага народа. Этой линии противопоставлялась деятельность той ее части, которая работала в земствах для улучшения народной жизни. За такой оценкой явно проглядывает собственная судьба П. Г. Виноградова, активно содействовавшего, несмотря на противодействие бюрократии, развитию народного просвещения на посту председателя училищной комиссии Московской городской думы. Этим объяснялось моральное осуждение власти большевиков и определение им цели гражданской войны.

Целью должно было быть устранение большевистского правления, которое П. Г. Виноградов определял как «погром». Средством – военная борьба объединившихся антибольшевистских сил внутри страны при поддержке, в том числе и вооруженными силами, со стороны союзников по Антанте. Любая попытка оправдать «реалистическую политику» поддержки большевиков, как единственной силы, способной противостоять немецким войскам (не говоря уже об изменнической попытке П. Н. Милюкова вступить в контакт с немцами), встречала резкую критику историка<sup>82</sup>. Призывая союзников к активному вмешательству в дела России, П. Г. Виноградов использовал в качестве аргументов указания на моральный долг перед русскими солдатами, не раз спасавшими их армии во время Первой мировой войны, и на возможность того, что искры революционного пожара могут долететь и до Британских островов<sup>83</sup>.

Однако оправдание антибольшевистских сил и интервенции была не безусловной. П. Г. Виноградов выступал в поддержку тех сил внутри страны, которые были готовы и способны провести реформы в интересах народа, а не реставрировать прошлое. Во внешнеполитическом

---

<sup>79</sup> Vinogradoff P. The Outlook in Russia // Welsh Outlook. January. 1918. P. 18.

<sup>80</sup> См.: Vinogradoff P. Troubled Time in Russian History // History: Historical Association. New York, 1918. P. 1–9.

<sup>81</sup> Vinogradoff P. Russia and the Future // Observer Sunday. March 10.1918.

<sup>82</sup> Vinogradoff P. «The Bolsheviks»: A Protest // New Europe. Vol. VII. No. 81. P. 71–72.

<sup>83</sup> Vinogradoff P. The Manner of Intervention in Russia // New Europe. Vol. VII. No. 86. P. 176–178.

плане усилия лидеров стран Антанты должны были быть направлены на изоляцию и крушение большевистского режима, а также на создание такого международного порядка, который способствовал бы возрождению на демократической основе сильного русского государства<sup>84</sup>. Это была отнюдь не контрреволюционная позиция, поскольку в результате победы над большевиками «земля останется в руках крестьян, которые ее обрабатывали веками; самоуправление будет завоевано интеллигенцией, которая жертвовала благополучием и жизнью в борьбе за него; свобода мысли и социальная справедливость одержат верх над насилием, идущим как слева, так и справа»<sup>85</sup>. Признавая право на независимость поляков и финнов, П.Г. Виноградов также делал значительные уступки принципу федерализма в будущем государственном устройстве освобожденной страны, тогда как в дореволюционный период он неоднократно подчеркивал неприемлемость его для России. Правда, при этом он считал, что выработка Версальской системы должна исходить из признания принципа «самосохранения и самосознания государств как исторических организмов»<sup>86</sup>.

В таком определении задач и условий борьбы с большевиками крылись ростки будущего видения им причин поражения антибольшевистских сил. В 1921 г. он свел их к трем основным: «несогласованности действий их [большевиков.—А. А.] русских противников, психологическим последствиям всеохватывающей революции и колебаниям враждебности к ним иностранной коалиции»<sup>87</sup>. Фатальное отставание белых в восприятии результатов революции вело к тому, что поддержка населения, которую могло укрепить проведение аграрных преобразований в отвоеванных районах, оборачивалась недовольством и ненавистью после продовольственных реквизиций. К тому же формирование окружения А. В. Колчака, А. И. Деникина, П. Н. Врангеля из представителей прогнившего *ancien regime*, коррумпированной бюрократии и своекорыстных помещиков воспринималось как возвращение дореволюционных порядков. В условиях, когда произошло

крушение всех освященных временем институтов и верований – самодержавия, церкви, традиционной производственной дисциплины, семейных связей, торговли, денег, утверждение идеалов нового времени напоминало историку *danse macabre*, ведомый под аккомпанемент насилия, лицемерия, кощунства и похоти. Если даже образованные классы в этих условиях «потеряли голову», то что можно было требовать от неграмотных крестьян, полуобразованных рабочих и отчаявшихся солдат. Вновь возвращаясь к сравнению со Смутным временем, историк подчеркивал, что тогда ведущие идеи религии, морали и социального порядка были проще и яснее. Наконец, союзники могли и должны были помочь, но среди их политических лидеров не оказалось фигур калибра Питта или Веллингтона. Некоторые империалисты по старинке стремились к ослаблению России любой ценой; радикалы, верившие в абсолютное стремление русского народа к свободе, готовы были поддержать Ф. Э. Дзержинского, который подчинил страну репрессивному контролю; социалисты, боготворившие В. И. Ленина, готовы были приветствовать его тиранию – давал расширенное объяснение непоследовательной политике союзников историк.

Разочарование в ходе дел на родине привело к тому, что в 1918 г. П. Г. Виноградов принял английское подданство, а с 1921 г. практически перестал публично откликаться на события в России, которые шли не так как виделось и желалось им в дореволюционный период. В последние годы он много путешествовал, читая лекции по приглашению ведущих университетов мира. В 1921 г. его аудиторию составляли студенты Лейдена, Брюсселя, Гента. В 1923 г. он совершил большой тур через всю Америку, выступая с лекциями и проводя семи-

<sup>84</sup> Vinogradoff P. The Fate of Russia //Times. 1918. October 22.

<sup>85</sup> Vinogradoff P. The Policy of the Pro-Bolsheviks //The Russian Commonwealth. 1919. Vol. I. No. 9. P. 206.

<sup>86</sup> Vinogradoff P. The Situation in Russia //The Reconstruction of Russia. London et al., 1919. p. 9.

<sup>87</sup> Vinogradoff P. Russia at the Cross-Roads //Contemporary Review. Vol. CXIX. 1921. P. 739.

нары в Уильямстаунском институте политики (Массачусетс), в университетах Калифорнии (в Беркли), Мичигана, Мэдисона (в Висконсине), в Йельском и Колумбийском университетах, в университете Дж. Хопкинса. В следующем году он вновь посетил Уильямстаун, а также институт сравнительного изучения культуры в Осло и университет г. Упсала (Швеция).

Новым знаком признания научных заслуг П. Г. Виноградова стало присуждение ему докторской степени *honoris causa* Сорбонной. Подготовленный историком для чтения в клубе истории права в Париже доклад «Некоторые проблемы истории англо-нормандского права» свидетельствовал, что он по праву заслужил это высокое звание<sup>88</sup>. Однако текст был зачитан французским профессором П. Колине из-за болезни Павла Гавриловича. Простуда, которая не вызвала сначала опасений, обернулась осложнением, приведшим к смерти историка 19 декабря 1925 г. Отпевание прошло в русском храме на улице Дарю. После кремации прах историка был перевезен в Оксфорд, где и захоронен.

\* \* \*

П. Г. Виноградов был воистину гражданином *respublicae litterarum*, космополитичной по своей сути. Жизнь его оказалась разделенной между Россией и миром, что требует при публикации его работ некоторых уточнений чисто технического свойства, касающихся вопросов датировки и написания имен. Датировка событий, произошедших до 1 февраля 1918 г. в России, и документов, относящихся к ее истории (исключая международные соглашения), приводится в данном издании по Юлианскому календарю. События заграничной жизни и письма, отправленные из-за рубежа, датируются по Григорианскому календарю. В ряде случаев, когда П. Г. Виноградов в зарубежных публикациях использовал датировку по Григорианскому календарю относительно российских событий до 1918 г., она дополнена датами по Юлианскому календарю или это оговаривается в комментариях. Написание иностранных имен и фамилий сохранено в авторской версии с указанием в комментариях возможных изменений в их написании. Цитаты из произведений русских литераторов и ученых, приводимые П. Г. Виноградовым в иностранных публикациях обычно в сокращении, найдены и выверены по современным автору изданиям или, в случае невозможности это сделать, по авторитетным современным републикациям. В них сделаны купюры, отмеченные многоточиями в квадратных скобках, чтобы было понятным использование цитат П. Г. Виноградовым. В издании сохранены примечания, сделанные автором. Они приводятся в виде постраничных сносок и отмечены звездочкой. Комментарии оформлены в виде концевых сносок, причем по техническим причинам в ряде случаев знак сноски ставился после указания в тексте на авторское примечание, а комментарии давались к упомянутым в этом примечании именам.

Помощь в переводе цитат с немецкого языка была оказана моим другом Игорем Ермаченко, а с французского – моей коллегой Ольгой Смирновой, которым я искренне благодарен.

---

<sup>88</sup> См.: Barnes Th. Notes from the Editors for the Collected Papers of Paul Vinogradoff. Derlan, New Jersey, 1995. P. 18–19.

## Славянофилы и западники

### И. В. Киреевский и начало московского славянофильства

Нашему поколению досталась в истории тяжелая и неблагодарная задача. Было время, когда русская жизнь казалась незыблемо прочной в своих основах, и потому стремления отдельных лиц и групп легко укладывались в общих рамках: и вера, и знание, и мысль, и деятельность получали свое определенное направление, люди не запутывались в отыскании мерил нравственности, а заняты были гораздо более простой задачей – сообразовать свое поведение с хорошо известными мерилami. Были и другие времена, когда над всем господствовал дух изменения, когда сознание неправды и несправедливости поднимало общество против укореившегося зла, и всякий знал, где неправда и несправедливость, и воодушевлялся сознанием, что идет в ногу с несметным множеством к историческим реформам. Мы не так счастливы, как люди тех времен, – мы не застали ни старого порядка, ни кризиса, его опрокинувшего; мы вышли из патриархальной опеки сословного строя, успели уже разочароваться во многих иллюзиях и увлечениях реформенного периода и заняты частичными, специальными работами, применением к новым условиям со всеми их местными особенностями и временными неудобствами. По необходимости работа идет вразброд и довольно случайно. Даже передовые люди не в состоянии обозреть ее и уяснить себе отношение ее отдельных проявлений к целому. А в исторической психологии такая разрозненность – условие роковое: она тотчас отражается на самом свойстве достигаемых результатов. Утрачена не только ясность, но и согласие: группы, на которые разбивается общество, мельчают, связующие интересы слабеют, отдельные люди или отдаются без дальних рассуждений интересам личного эгоизма, или терзаются своей нравственной беспомощностью и скудостью общественной жизни, или прилепляются к первому попавшемуся общему делу, хотя бы и неразумному, для того, чтобы найти хоть какое-нибудь удовлетворение идеальным потребностям души.

Не мудрено, что в такое время распада и розни внимание невольно обращается к эпохам, когда велика была организующая сила идей. Эта таинственная сила объединяет людей, подсказывает открытия, внушает энтузиазм художнику и самопожертвование гражданину, и ее можно разве только сравнить с теми властными мотивами, от которых зависит стройный лад музыкального произведения: благодаря им хаос звуков обращается в привлекательное и живое целое. И если мы, не дожидаясь приговора потомства, уже сами строго судим свое время и свое дело, то великим ободрением для нас, благотворным указанием на лучшее будущее должен служить тот факт, что наше русское общество, в котором мы являемся только временным звеном, в течение одного XIX века пережило по крайней мере две эпохи культурного подъема, разнохарактерные по своим стремлениям и результатам, но тесно связанные друг с другом и одинаково замечательные по объединяющему и организующему влиянию идей. Я разумею сороковые и шестидесятые годы. Всем известно, что эти цифры имеют более, чем хронологическое значение: к сороковым годам причисляются отчасти и тридцатые и начало пятидесятых, к шестидесятым годам по праву принадлежит конец пятидесятых. Тут дело не в цифрах, а в приблизительном обозначении двух исторических моментов, из которых один знаменует образование главных теоретических направлений русской мысли XIX века, а другой – появление нового социального строя русской жизни. Сегодня я желал бы обратить ваше внимание на очень характерное явление первой эпохи – на зарождение так называемой славянофильской школы. Основатели ее, братья Киреевские<sup>1</sup> и Хомяков<sup>2</sup>, являются в то же время весьма

характерными представителями всего поколения сороковых годов наравне с знаменитейшими западниками – Станкевичем<sup>3</sup>, Грановским<sup>4</sup>, Герценом<sup>5</sup> и Белинским<sup>6</sup>.

Дело идет о сравнительно недавнем прошлом, а между тем имена этих деятелей сияют уже каким-то легендарным блеском. Особенно вызывают удивление духовная самостоятельность и плодотворность этих людей во время строгой правительственной опеки, их гуманное, всестороннее развитие, их могущественное влияние на окружающее общество. Много причин собралось, чтобы возвысить это поколение. Впервые высшее образование, научное и художественное, стало национальным в ту пору – как с Пушкиным<sup>7</sup> и Гоголем<sup>8</sup> Петровская реформа осуществилась в литературе, так с Грановским и Хомяковым стала на ноги научная и философская мысль в русском обществе. Высшее образование этого времени является уже не случайным украшением нескольких высокопоставленных людей, а результатом жизненного процесса в самом народе, с одной стороны, просветительной силой для народа, с другой. Первая культурная жатва, естественно, отличается особым обилием и свежестью, и в настроении людей сороковых годов чувствуется какая-то даже наивная радость по поводу нового приобретения. Вспомним, как восторженно описывает Герцен московские кружки сороковых годов. Эти мыслители, жизнь которых была поглощена изучением и обсуждением Гегеля<sup>9</sup> и Шеллинга<sup>10</sup>, Гёте<sup>11</sup> и Шекспира<sup>12</sup>, это общество, для которого лекция Грановского или критическая статья Белинского были главным предметом интереса и разговоров, вносят в свои интеллектуальные занятия опьянение молодости, культурной молодости народа, вступающего наконец в свое умственное совершеннолетие. Надо прибавить, что все-таки были кружки не особенно многочисленные и потому легко поддерживающие общение друг с другом: тем легче было возбудить и разогреть их. Голос с кафедры и слово журналиста раздавались звучнее в небольшом помещении, отведенном для самостоятельной деятельности тогдашнего общества; даже словесные споры и беседы становились важным фактором распространения мыслей. Все деятели были на виду и на счету, не приходилось бороться с подавляющим влиянием массы и с разнообразием занятий и интересов. Наконец нельзя не отметить аристократическую постановку этой культуры – она была по существу дворянская принадлежность людей большей частью досужих и обеспеченных, опиравшихся на фамильную преемственность образования и воспитанности, людей с утонченными вкусами, широкими запросами и значительными средствами. Позднейшая культура «разночинцев» имеет более грубый, ремесленный, но и более деловой характер.

Как бы то ни было, не в умаление заслуг людей сороковых годов указываю я на эти черты, а в объяснение их особенностей. Они выдвинули в нашей истории своего рода гуманизм, литературный и философский, который, не задерживаясь частностями и мелочами, заботился прежде всего об установлении общего мирозерцания. И в этом отношении сделано было так много, что мы до сих пор в значительной степени принуждены считаться с законоположительными взглядами этого времени.

Славянофильство, например, имеет до сих пор убежденных представителей и оказывает влияние далеко за пределы собственной школы, по множеству воззрений, сделавшихся более или менее общим достоянием или усвоенных другими группами, иногда даже противниками. Но для оценки сущности славянофильских построений всегда придется восходить к принципам учения, как они изложены первыми его поборниками. Только при этом условии выясняются обстоятельства, которые дали учению известное направление, а вместе с тем подготавливается почва для оценки как положительных, так и отрицательных сторон его. Я думаю, что в настоящее время можно уже стать на такую «историческую» точку зрения. Она во всяком случае имеет право на существование наряду с партийной защитой и полемическим разбором.

Значение такой постановки задачи должно чувствоваться, как скоро мы спросим себя, что главное в славянофильстве, что составляет его исходную точку? Система сложная и охва-

тывающая все стороны жизни. Не все равно, где мы будем искать конец, чтобы размотать клубок.

Заграничная пресса довольно легкомысленно понимает все дело, как продукт панславянской агитации, русской ненасытности, стремящейся поглотить все славянские племена, чтобы затем поглотить Европу. Самая простая историческая справка показывает, что панславистская тенденция является в славянофильстве далеко не необходимым придатком, что славянский вопрос играл сравнительно скромную роль в теориях славянофилов, несмотря на соблазнительное имя школы, что течение практической жизни выдвигало, конечно, и его, но что как раз в этом отношении можно усмотреть существенные разногласия между ее главными представителями и, например, указать на некоторых украинофилов, всегда отрещивавшихся от московского славянофильства и тем не менее проводивших действительно панславистские идеи (Костомаров<sup>13</sup>). Для русской публики нет, впрочем, особенной надобности настаивать на том, что панславизм и славянофильство совсем не синонимы, а западная публика впала в эту ошибку главным образом потому, что в сущности знает из славянофилов только одного Ивана Сергеевича Аксакова<sup>14</sup>.

Зато среди русской публики чрезвычайно распространен взгляд, по которому славянофильство есть только слегка замаскированное московофильство. И без сомнения, осуждение петербургского порядка и петербургского периода, искание положительных идеалов в допетровской Руси, оппозиция западным заимствованиям, преклонение перед исконно-народной тысячелетней стихией, создавшей необыкновенно выносливое, сплоченное общество – все эти черты вновь и вновь выдвигались в сочинениях славянофилов. Но, во-первых, идеализация московского строя XVII века такова, что переходит уже в «археологический либерализм», развивает такие понятия о «земле», ее нравственной самостоятельности и вытекающих отсюда юридических условиях и учреждениях, что не может быть и речи о том принесении в жертву всех интересов государственной силе и единству, которое обыкновенно ставится в упрек московскому порядку. А главное, является вопрос, отчего именно в таком свете рисуется для славянофилов русская старина? Если бы их доктрина представляла действительно только «ползучее» учение, применяющееся к данной обстановке, рассчитанное на то, чтобы обелить действительность во что бы то ни стало и заглушить порицание совести, то не было бы надобности и уходить в московскую древность и аранжировать ее на довольно фантастический лад – можно было удовольствоваться и петербургским благоустройством.

Для того, чтобы понять К. Аксакова<sup>15</sup> и Ю. Самарина<sup>16</sup>, надо обратиться к Хомякову и Ив [ану] Киреевскому.

А у них мы найдем только сравнительно небольшое число страниц, посвященных политическим темам. Историей ни тот, ни другой не пренебрегали, но интересовались они историей в ее самых общих и, так сказать, философских очертаниях. Даже странные специальные изыскания Хомякова в области средних веков<sup>17</sup> имеют в виду никак не равномерное изучение материала, а подготовку доказательства для философски-исторических обобщений. Нельзя также сказать, чтобы исходный пункт был богословский, хотя религиозное мышление играет видную роль и для того, и для другого. Центр тяжести их интересов в установлении нового философского мирозерцания: история и богословие разрабатываются в той степени, как это нужно для проведения идей этого мирозерцания. У Хомякова все получает более определенную и боевую форму, подробности развиты больше, и собственно богословские определения выдвигаются на первый план. У Киреевского лучше видна философская основа, лучше можно оценить положение системы среди других мировоззрений. Довольно трудно решить в отдельных случаях, кто из вожаков направления первый выставил ту или другую мысль – они думали и работали в постоянном общении и перекрестных влияниях друг на друга. Но, кажется, нельзя

усомниться в том, что Ив [ан] Вас [ильевич] Киреевский является руководящим философом школы и всего более сделал для указания ее отношения к западной метафизике и быту.

На первый взгляд роль эта как будто слишком тяжела для Киреевского. Его личность и жизнь производят впечатление грустной неудачи: молодость полна надежд, бодрости, дарований, а затем собираются тучи, и жизнь проходит мрачно, неполно, с долгими перерывами деятельности, в резком несоответствии между силами и достигнутыми результатами. Семейные влияния со всех сторон наводили на литературные занятия и в то же время развивали религиозное настроение: над этой семьей как бы носился дух рано умершего отца<sup>18</sup>, знатока языков и естественных наук, ненавидевшего отрицательную философию XVIII века и покупавшего сочинения Вольтера и энциклопедистов, чтобы уничтожить их<sup>89</sup>. И мать, и отчим Киреевских были замечательные и высокообразованные люди – кружок Елагиных сделался одним из самых привлекательных и интеллигентных центров московской жизни<sup>19</sup>, и нет надобности объяснять, как много этим сказано. Жуковский<sup>20</sup>, дядя по матери, внимательно следил за воспитанием Киреевских и рано развил в них эстетические наклонности. «Пиши стихи, Кошелев<sup>21</sup>», – повторяет на все лады двадцатидвухлетний Иван Васильевич своему сверстнику, будущему деятелю эпохи реформ. «Я уверен, что не только для усовершенствования слога, но и для образования ума и воображения, для развития чувства изящного (которое, как мы знаем, есть начало, причина, мера и цель всякого усовершенствования), следовательно, для счастья жизни, для возвышенности жизни, для красоты жизни необходимо писать стихи»<sup>90</sup>.

Любимым поэтом Киреевского долго был беззаботный, фантастический Ариост<sup>22</sup>. «Это единственная книга, которой эпитет друга не натянут. Он греет, утешает и рассеивает. Мир его – фантазия. Это теплая, светлая комната, где можно отдохнуть и отогреться, кого мороз и ночь застали на пути... Я совсем не удивляюсь, что Ариост не для всех величайший из поэтов. Для большей части людей его вымыслы должны казаться вздором, в котором нет ни тени правды. Но мне они именно потому и нравятся, что они вздор и что в них нет ни тени правды»<sup>91</sup>.

Ознакомление с литературой и философией пошло так успешно, что во время поездки за границу в 1830 году Киреевский мог сознательно и критически относиться к европейским великанам, среди которых ему пришлось вращаться<sup>23</sup>. И Гегель, и Шеллинг, и Шлейермахер<sup>24</sup> вызывают его удивление, но он умеет замечать и сильные, и слабые их стороны; письма его из-за границы интересны тем, что в них нет и тени кичливой и поверхностной придирчивости или самомнения. Немецкая общественная среда его отталкивает, нравы не симпатичны, но к ученым руководителям Германии он относится с должным вниманием. Молодой человек вдумывается, всматривается и критикует, потому что понимает. По возвращении в Россию Киреевский сразу становится на видное место среди московских литераторов. Он задумывает журнал, который послужил бы проводником истинного европейского просвещения. И с этого момента начинаются злоключения. «Европейца»<sup>25</sup> Киреевского постигло запрещение на второй книжке. Запрещение было, по выражению Погодина<sup>26</sup>, «исторической бумагой»<sup>27</sup>. В ней сказано: «сочинитель, рассуждая будто бы о литературе, понимает совсем иное; под словом просвещение он понимает свободу, деятельность разума у него означает революцию, а искусно отысканная середина не что иное, как конституция»<sup>28</sup>. В 1845 году новая попытка взять в руки временное издание. «Москвитянин»<sup>29</sup> переходит от Погодина к Киреевскому, но только на 4 месяца, и в данном случае виноват был Погодин. В конце сороковых годов Иван Василье-

<sup>89</sup> Биография А. И. Кошелева, том I, книга II, стр. 4.

<sup>90</sup> Материалы для биографии И. В. Киреевского при первом томе его сочинений, стр. 16 [Материалы для биографии Ив. Вас. Киреевского // Полное собрание сочинений Ивана Васильевича Киреевского. М., 1861. Т. 1. Изданный А. И. Кошелевым].

<sup>91</sup> Материалы, 73.

вич добивается кафедры философии в Москве – тщетно. Его считают человеком опасным. Трудно объяснить себе административную строгость, которая преследовала этого благонамереннейшего и скромнейшего человека, никогда не питавшего симпатии к «глупому либерализму» и мечтавшего только о господстве закона. Но трудно извинить и пассивность, обнаруженную при этих обстоятельствах Киреевским. Цензурные невзгоды почти отнимали у него способность к деятельности. В течение одиннадцати лет после запрещения «Европейца» он не написал ничего, кроме двух-трех беллетристических отрывков; да и потом он выражает свои мысли только в отдельных статьях, появлявшихся с большими перерывами в журналах. «Мне надоело быть немым», пишет он, и все-таки немота стала правилом в этой жизни, а речь исключением. И самая речь эта, как будто сделанная, уменьшенная в своем естественном объеме и силе. Герцен нашел страшное слово, чтобы характеризовать это состояние. Он говорит, что жизнь Киреевского напоминает зыбь моря над затонувшим кораблем<sup>30</sup>. Иван Васильевич с особенной охотой жил в деревне и искал утешения в глубокой религиозности и в общении с лучшими представителями религиозной жизни. Особенно повлияли на него старцы Оптиной пустыни<sup>31</sup>. Однако и связи с московскими кругами не порывались. Этот праведник сумел снискать себе дружбу даже людей другого лагеря; ни с кем из славянофилов западники не поддерживали таких хороших отношений, как с Ив[аном] Киреевским, несмотря на то, что по взглядам и натуре он принадлежал совершенно к другому миру, чем Герцен или Грановский. Для нас эта личная сторона имеет значение грустного объяснения отрывочности дошедших до нас работ. Важно то, что несмотря на эту отрывочность и несовершенство статьи Киреевского остаются главным памятником для раскрытия философски-исторических мотивов славянофильства. Поучительны они в двух противоположных отношениях: с одной стороны, к ним пристраиваются позднейшие философские попытки славянофилов, с другой – они раскрывают зависимость всего направления от некоторых общих движений европейской мысли. Сопоставим же вкратце главные взгляды нашего автора, поскольку они затрагивают философию истории и историю философии.

Вместе со всеми мыслящими людьми своего времени Киреевский думал, что жизненным вопросом для русского общества является вопрос об истинном отношении его к европейской цивилизации. Полюсами, между которыми расходились мнения, можно обозначить Чаадаева<sup>32</sup> с одной стороны, требовавшего восприятия католицизма как воспитательной силы, объединившей Европу, и без которой нет единения с Европой, Погодина с другой стороны, собиравшегося победить Европу уже не штыками, а словами, и мечтавшего чуть не о личном препирательстве с Гизо<sup>9233</sup>. Киреевский не доходил до крайностей и стремился составить продуманное мнение вместо голословных утверждений, но он побывал в обоих лагерях. В ранние годы вопрос не особенно затруднял его, и он отвечал просто: нечего нам бояться потерять свою национальную особенность. Условия нашей жизни так глубоко отличаются от жизни остальной Европы, что нам физически невозможно сделаться французами, англичанами или немцами. Но до сих пор народность наша была грубая, первобытная и такая же неподвижная, как китайцы. Чужеземное влияние должно быть усвоено и привести к просвещению. В этом духе был задуман и несчастный журнал 1832 года – «Европеец». Когда Киреевский выступил опять на литературном поприще через одиннадцать лет после запрещения «Европейца», мнения его существенно изменились, главным образом под влиянием брата и Хомякова. Он по-прежнему с горечью порицает существующую заимствованную культуру: «мы переводим, подражаем, изучаем чужие словесности, следим за их малейшими движениями, усваиваем себе чужие мысли и системы, и эти упражнения составляют украшения наших гостиных, иногда имеют влияние на самые действия нашей жизни, но, не быв связаны с коренным развитием

<sup>92</sup> Барсуков, Жизнь и труды Погодина, IV, 9, 10 [Барсуков Н.П. Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1891. Кн. IV].

нашей, исторически нам данной образованности, они отделяют нас от внутреннего источника отечественного просвещения и вместе с тем делают нас бесплодными и для общего дела просвещения всечеловеческого. Произведения нашей словесности, как отражения европейских, не могут иметь интереса для других народов, кроме интереса статистического как показания меры наших ученических успехов в изучении их образов. Некоторые думают, что полнейшее усвоение иноземной образованности может со временем пересоздать всего русского человека, как оно пересоздало некоторых литераторов... и тогда вся совокупность образованности нашей придет в согласие с характером нашей литературы. Стоит ли опровергать такое мнение? Уничтожить особенности умственной жизни народа так же невозможно, как невозможно уничтожить его историю. Заменить литературными понятиями коренные убеждения народа так же легко, как отвлеченной мыслью переменить кости развившегося организма. Впрочем, если бы мы и могли допустить на минуту, что предположение это может в самом деле исполниться, то в таком случае единственный результат его заключался бы не в просвещении, а в уничтожении самого народа. Ибо что такое народ, если не совокупность убеждений, более или менее развитых в его нравах, в его обычаях, в его языке, в его понятиях сердечных и умственных, в его религиозных и общественных отношениях, одним словом, во всей полноте его жизни?»<sup>93</sup> Европейский склад мышления и русский как-то органически непримиримы, вследствие чего и невозможно для России полное и простое усвоение европейской цивилизации. Падает ли в этом упрек главным образом на Россию? Анализ условий европейского развития показывает, что и там обнаруживаются коренные односторонности, которые следует всячески устранять, а никак не заимствовать.

Три элемента придали Западной Европе ее особый отпечаток: влияние классической древности, католическая организация церкви и образование государства из германского завоевания. Наш автор начал с чрезвычайно выгодной оценки классического влияния и доказывал, что истинное усвоение классического образования более всего остального способно сделать заимствование европейского просвещения плодотворным. По мере того, как развивалась его система, античная цивилизация стала все более и более представляться ему как одностороннее, жалкорассудочное понимание жизни. Римская сторона классического мира всего сильнее повлияла на западные народности. А в Риме с его пресловутым правом сердечному элементу было предоставлено весьма мало места сравнительно с эгоизмом и холодным рассудком. Величайшим несчастьем для человечества было бы, если бы Римская империя удержалась и не погибла в борьбе с народным переселением.

Как бы то ни было, римское понимание нравственности и права всеми возможными путями проходило в жизнь Западной Европы – через школы, судилища и, главное, через церковь. Римский католицизм есть христианство, подчинение узкому и сухому духу логики. И догмат об исхождении Духа Святого от Отца и Сына, и развитие личного папского правления, и притязания на господство церкви над государством, и догматические дополнения в роде учения о чистилище – все это добыто логическими выводами, логической работой над писанным преданием церкви, а не решением совокупности церковной. Но раз люди стали на рассудочную точку зрения, не мудрено, что выводы они стали делать в противоположных направлениях – и в пользу неограниченного авторитета, и в пользу свободы личного мнения. С одной стороны, средневековый католицизм воздвигал здание своей бесплодной схоластики; с другой, реформация разрушала самое основание церкви, допустив свободу толкования Священного Писания. Все эти факты со своими кажущимися противоречиями идут от одного и того же корня – от рационализма, от стремления основать жизнь на рассудке и логике. Можно сказать, что папа Николай I<sup>34</sup>, разделивший церкви, Лютер<sup>35</sup>, поднявший Реформацию против римской церкви,

<sup>93</sup> Сочинения II, 33, 35.

и Штраус<sup>36</sup>, восставший против самого христианства, – все это плоды одного и того же логического древа, звенья одной и той же логической цепи.

Тот же дух узкого формализма обнаруживается во внешнем устройении европейского общества. Государство создано на Западе завоеванием, т. е. резким столкновением общественных элементов. Столкновение, борьба, ограничение и перемирие или договор – вот к чему сводится вся политическая история Европы. Каждый проводит свои индивидуальные права до крайних пределов своей мощи. Хозяйство основано на полнейшем индивидуальном эгоизме. Государство является договором между противоречивыми интересами сторон. Даже в нравственной области Запад имеет особенностью своею понятие личной чести, понятие и высокое, и одностороннее в одно и то же время. Оно суживает широкие требования добродетели, применяя их к миру, в котором все зависит от способности защищать и возвышать свою личность.

Но несовершенство западной цивилизации становится особенно очевидным, когда мы вглядываемся в ее окончательные результаты. Если бы она была здорова в корне, то чем объяснить, что ее раскрытие, ясное и последовательное проведение ее посылок вызывает общее чувство недовольства, обманутой надежды? «Не потому западное просвещение оказалось неудовлетворительным, чтобы науки на Западе утратили свою жизненность; напротив, они процветали, по-видимому, еще более, чем когда-нибудь; не потому, чтобы та или другая форма внешней жизни тяготела над отношениями людей – никогда, кажется, внешняя жизнь не устраивалась послушнее и согласнее с их умственными требованиями. Но чувство недовольства и безотрадной пустоты легло на сердце людей, которых мысль не ограничивалась тесным кругом минутных интересов, именно потому, что самое торжество ума европейского обнаружило односторонность его коренных стремлений. Холодный анализ разрушил все те основы, на которых стояло европейское просвещение, так что собственные его коренные начала, из которых оно выросло, сделались для него посторонними, чужими, между тем как прямою собственностью его оказался этот самодвижущийся нож разума, этот отвлеченный силлогизм, не признающий ничего, кроме себя и личного опыта»<sup>94</sup>.

Киреевский обозревает историю европейских метафизических систем, чтобы показать, что она постоянно двигалась по пути отвлеченной логики. В начале ее стоит Аристотель<sup>37</sup>, представитель точного наблюдения и логического процесса, в конце – Гегель, завершивший развитие рационализма системой, в которой законы диалектической мысли становятся законами природы и истории. И в самом деле, что остается человеку, если он будет отрицать всякий авторитет, кроме силы отвлеченного рассуждения? Придется видеть в мире результат диалектической игры мысли и видеть в разуме сознательное отражение вселенной. До этого пункта и дошли философы в наше время. И именно в минуту победы западные люди почувствовали пустоту своих стремлений. Величайший мыслитель Германии Шеллинг уже сознал односторонность логической мысли. И повсюду замечается движение к непосредственному пониманию жизни, к пополнению логики чувством, к вере. Но откуда взять на Западе эти здоровые элементы? Возвратиться к устаревшим и опровергнутым взглядам совершенно невозможно. Это значило бы обставить себя театральными декорациями и уверять, что вокруг живая природа. И вот даже такие великаны мысли, как Шеллинг, изнемогают под бременем непосильной задачи составить религию для своего личного употребления и средствами своего личного духа.

Спасительным является для нас ввиду этой трагической истории сознание, что Россия обладает в простой вере своего народа как раз тем залогом жизни, которого недостает Западу, и просвещенное стремление ее руководителей, ее образованных людей должно быть направлено к развитию религиозного достоинства, около которого сосредотачивается вся жизнь народа. Именно возможность такого вклада, такой поправки и дополнения обеспечивает общение и взаимодействие между русской народностью и европейской культурой. Именно потому, что

---

<sup>94</sup> Сочинения II, 231.

Россия имеет положительное содержание для обмена, она может открыто признать свои несомненные слабости в прошедшем и все-таки надеяться на великую роль в будущем. Нельзя не признать, что отчуждение от Запада было источником великих несчастий, что оно объясняет низкий умственный уровень народа. Мало того, христианство сузилось благодаря ему в византийские формы, ханжество и поклонение букве проникло в религиозную жизнь и нашло свое завершение в расколе. Бессмысленно было бы также бороться против западной науки и общественных усовершенствований. «В стремлении к русскому народному духу есть возможность недоразумения, которое, к сожалению, часто встречается и многое путает. Под русским духом разумеют не одушевление общечеловеческого ума духом православного истинного христианства, но только отрицание ума западного. Под народным разумеют не целостный состав государства, но одно простонародное – смешанный отпечаток полуизглаженных прежних общественных форм, давно изломанных и, следовательно, уже невозстановимых. Дух живет, но улетает, когда им хотят наполнить разбитые формы»<sup>95</sup>.

Значит, надо пустить в оборот капитал, который до сих пор пассивно хранился в народе, надо усвоить принципы, не раболепствуя перед частностями. В России сохранилась церковь, которая не ищет светской власти и тем не менее воспитала государство и общество. Богословская традиция греческих отцов никогда не угасла, а в творениях этих отцов содержится множество данных для развития метафизики и психологии: их необходимо сопоставить с результатами западной науки и сделать основанием для исправления и пополнения этой науки. Монастыри, рассеянные по широкой земле, были как бы университетами этой культуры. И они выставили духовные требования более полные и живые, чем логическая философия Запада. Они всегда понимали стремление к истине, как сосредоточение всех способностей человеческого духа, как гармоническое выражение ума, чувства и воли, а не простое логическое мышление.

И действительно только тот, кто понял мысль чувством, понял ее вполне. Иначе она остается безжизненной отвлеченностью. Элементы душевного движения, поэтического волнения, восторга много раз и в различных формах подчеркиваются Киреевским в противоположность рассуждению с его логическими сцеплениями. Прекрасным примером психологического процесса, которым он думал пополнить сухость логических выводов, служит, по моему мнению, знаменитое место из «Былого и дум» Герцена, в котором передана защита Киреевским почитания икон.

«Я раз стоял в часовне, смотрел на чудотворную икону Богородицы и думал о детской вере народа, молящегося ей; несколько женщин, больные, старики стояли на коленях и крестясь клали земные поклоны. С горячим упованием глядел я потом на святые черты, и мало-помалу тайна чудесной силы стала мне уясняться. Да, это не просто доска с изображением... века целые поглощала она эти потоки страстных возношений, молитв людей скорбящих, несчастных – она должна была наполниться силой, струящейся из нее, отражающейся от нее на верующих. Она сделалась живым органом, местом встречи между Творцом и людьми. Думая об этом, я еще раз посмотрел на старцев, на женщин с детьми, поверженных во прах, и на святую икону – тогда я сам увидел черты Богородицы одушевленными; она с милосердием и любовью смотрела на этих простых людей... и я пал на колени и смиренно молился ей»<sup>38</sup>.

Все в этом отрывке характерно: и горячая потребность в личном, конкретном общении с божеством, которое не довольствуется отвлеченной формулой или бесформенным чаянием, а ищет знакомого лика человечности и сострадания; и поучение премудрого и разумного от младенцев; и бессловесная передача этого поучения в виде не-посредственно-охватывающего чувства. Если Киреевский искал в положительной религиозности не доказательств, а убеждения, то и боялся он для нее не отрицательной полемики, а слабости духа.

---

<sup>95</sup> Письмо Погодину 1855 года. Материалы для биографии Киреевского, 109.

«Весьма редки случаи, чтобы православно-верующий утратил свою веру единственно вследствие каких-нибудь логических рассуждений... Он теряет веру не от умственных рассуждений, но вследствие соблазнов жизни, и своими рассудочными соображениями ищет только оправдать в своих глазах сердечное отступничество... Покуда он верит сердцем, для него логическое рассуждение не опасно»<sup>96</sup>.

В общем взгляды Киреевского резюмируются в два-три предложения. Культура Западной Европы грешит односторонним рационализмом; русская народная жизнь, напротив, отличается цельностью своего духовного начала и требует гармонического соединения ума, сердца и воли; именно этой цельностью держится православие, и будущность цивилизации зависит от дальнейшего развития ее под влиянием православия.

Критика каждого произведения мысли, в том числе и работы Киреевского, может быть двоякая: она может, так сказать, уединить произведение, взять его само по себе как связь предпосылок и выводов, и раскрывать неполноту или недостоверность данных, непоследовательность, превратность, преувеличения в рассуждении. Или она может задаться целью поставить произведение в его историческую обстановку и судить его как выражение известных идей и стремлений, сообразно с относительным значением этих идей и стремлений, применительно к тому, насколько они сами оказались крепкими и плодотворными. Мне кажется, что нет особенной надобности в настоящее время входить в подробный разбор отдельных положений и доказательств Киреевского. Весьма легко было бы подобрать у него массу странностей и преувеличений: и презрение к политической экономии, и самодовольная характеристика русской мерзости и европейской суетливости, и ненависть к американцам, и определение рыцарства как честного разбойничества, и множество других подробностей могли бы дать повод к насмешливым замечаниям. Самое изображение русского быта страдает, несомненно, чрезвычайной бледностью и неопределенностью, а изображение хода европейских дел схематично и во многих отношениях несправедливо. Будто чувство не играло роли на западе Европы, хотя бы в истории крестовых походов и религиозных движений, например! Можно ли сводить развитие западной мысли на историю разлагающегося метафизического анализа? Худо или хорошо, но XIX век больше всего характеризуется ростом опытных наук и связанных с ними эмпирических и позитивных взглядов. Это движение совсем не рассмотрено Киреевским, хотя начало его относится уже к его времени. Главная поправка, которую он вносит в теорию познания и на которой строится все его здание, отличается такою неопределенностью, что ее даже формулировать трудно. Что такое его целостная деятельность духа? В нее входят по схеме и чувство, и воля. При ближайшем рассмотрении понятие воли, которое играло такую роль у Хомякова, обыкновенно устраняется и остается требование эмоции, душевного движения. Крайняя туманность этого центрального пункта сопровождается соответствующим дилетантизмом в проведении его последствий. Нужно воспользоваться метафизикой греческих отцов, нужно преобразовать западную философию с точки зрения восточного идеала. Все это великие требования, и поучительно было бы видеть хоть некоторые попытки к их осуществлению. А их нет, и вместо дела являются столь частые в русском образованном обществе и столь бесплодные общие рассуждения.

Но, если я и намечаю возможность разнообразных возражений против отдельных взглядов Киреевского, то никак не для систематической критики. Для нее было другое время.

Мы уже отделены от этих работ таким продолжительным промежутком времени, что имеем и другие более интересные задачи по отношению к этому мыслителю. Мы видим, с одной стороны, что его основные положения были восприняты обширной и, несомненно, плодотворной во многом славянофильской школой, с другой стороны, что положения эти стояли в связи с известными условиями эпохи и тем самым выдвигались до большего значения, чем

---

<sup>96</sup> II, 321.

мог бы им придать даже самый блестящий личный талант автора. Киреевский замыкает цепь между некоторыми коренными взглядами славянофилов и умственным движением Европы в первые десятилетия нашего века. В этом главный интерес его произведений.

В самом деле откуда является ожидание и предначертание обновляющей, всемирно-исторической роли России? Откуда представление о народной личности, сложившейся в такую же неподатливую форму, как кости взрослого организма? Откуда преклонение перед религиозным элементом как первенствующим в личной и исторической жизни? Откуда, наконец, попытка освободиться от рассудочности и выдвинуть значение других сторон духа?

Без всякого сомнения, многое в этом складе воззрений подготавливалось на месте, в самой нации. Задолго до Киреевского и славянофилов русские патриоты выступали с притязаниями на особое избрание Святой Руси, завещанное Римом и Царь-градом и ставившее ее в преемственность всемирного владычества. Уже царь Иван Васильевич Грозный<sup>39</sup> исповедовал этот философски-исторический взгляд<sup>40</sup>. Постоянная противоположность между усвоенным строением и иноземными порядками, которым к тому же приходилось во многом подчиняться, давно побуждала высказаться и против никоновских нововведений, и против петровской реформы, и против всей петербургской системы. Про религиозную гордость православия и говорить нечего. Но все эти элементы являлись при несомненном бытовом значении все-таки только материалом для теории. Они поднялись до значения теории, сомкнулись в философски-историческое учение тогда, когда навстречу им двинулись волны издалека, со всех сторон самого западноевропейского мира. Уже незадолго до славянофильства и даже одновременно с ним мы видим писателей, усвоивших почти те же национальные идеи, но не принадлежащих к школе, потому что их не коснулось в этой форме или в этой степени движение европейской мысли. Ни Шишков<sup>41</sup>, ни Карамзин<sup>42</sup>, ни даже Погодин не славянофилы. Славянофильство как европейская школа начинается с Ивана Киреевского и по всем вопросам примыкает к определенным течениям в западноевропейской литературе, примыкает не в силу заимствования или рабского подражания, а как ветвь к стволу. Можно сказать, что в некоторых отношениях нигде идеи начала века не выражались так закончено и последовательно, как в московском славянофильстве.

Я отметил четыре коренных положения, переходящих от нашего писателя через всю школу. Посмотрим, как они относятся к европейской литературе.

Сам Киреевский признает, что его осуждение рассудочной философии опирается на последнее слово немецких философов. И действительно, как биография и переписка Киреевского, так и его статьи обличают постоянное влияние Шеллинга. Великий немецкий мыслитель прошел длинный метафизический путь в течение своей долгой жизни – приходится отличать четыре или пять эпох его философского понимания. Но среди всех этих эпох красной нитью является его стремление расширить границы человеческого ведения путем освобождения его от исключительного господства рассудка и обычной логики. В 1803 году Шеллинг писал в предисловии к своим лекциям о методе университетского изучения<sup>43</sup>: «На предполагаемом безусловном значении логики основывается „Критика чистого разума“ Канта<sup>44</sup>, которая познает разум только в подчинении рассудку. Если бы не было иных способов познавать абсолютное, кроме выводов рассудка, и не было бы иного разума, помимо формы рассудка, о, конечно, нам пришлось бы вместе с Кантом отказаться от всякого непосредственного познания в области безусловного и сверхчувственного». Еще находясь под влиянием Фихте<sup>45</sup>, он выделял особую способность или состояние внутреннего или умственного воззрения, непосредственного и цельного, не подчиненного обычным условиям образования знания из опыта. Этой способности соответствует творческий акт художника, который также ведь не подчинен логическим правилам и меркам, а между тем имеет непосредственную убедительную силу. В этом акте слиты отгадывающее познание действительности и ее творческая переработка,

сливаются начала необходимости – общих законов, которым удовлетворяет художественное произведение, – и свободы в условиях его создания из индивидуального духа. Поэтому художественный акт есть собственно психологическое объяснение существующего. Рассматриваемое с этой стороны, учение Шеллинга развивается из замены рассудка фантазией, логики чувством, общеобязательных законов мышления гениальным произволом. Мы не будем следить за видоизменениями доктрины Шеллинга, за применением ее к философии природы и к учению о Боге. Для нашей цели достаточно обозначить то расширение принципа познания в область чувства, с которым роднится искание цельного знания и поэтического откровения у Киреевского. И необходимо отметить, что в данном случае Шеллинг является только знаменитейшим представителем целого направления, того романтического направления, которое возмущалось трезвостью, сухостью, низменностью просветительской философии XVIII в., с завистью смотрело на поэтическую действительность средних веков, отказывалось от однообразия и условных правил классической литературы и выше всего ставило личную гениальность художника<sup>97</sup><sup>46</sup>. Фридрих Шлегель<sup>47</sup>, Тик<sup>48</sup>, Новалис<sup>49</sup> — каждый по своему – боролись против рационализма за непосредственное чувство и фантазию. У Шеллинга из этого романтического стремления вылилась целая система метафизики.

Отрицательная сила такого рода принципа, конечно, велика, но велики и его опасности. Гегель, который некоторое время шел с шеллингистами, скоро отвернулся от них. В своей «Феноменологии» он выражается ясно и резко: «Философия, которая мнит себя слишком высокой для того, чтобы действовать понятиями, которая отсутствие понятий считает созерцательной или поэтической формой мысли, такая философия просто выдвигает произвольные комбинации разнузданной фантазии, создает нечто такое, что не рыба и не мясо, не поэзия и не философия». «Красота, святость, вечность, религия, любовь – все это только приманки; не логическое понятие, а экстаз, не спокойно развивающаяся необходимость, а восторженное брожение – вот в чем думают найти закон развития субстанции»<sup>98</sup>.

Лучшей критикой романтического направления является то, что оно было поставлено в необходимость тотчас искать выхода из крайнего субъективизма и личного произвола: от признания такой роли за чувством и воображением, которая подрывает логическую связь людей между собою и собственно изолирует каждого в пределах своих личных аффектов, – от такого полного индивидуализма романтика принуждена была перескочить в противоположную крайность и отыскивать внешним образом наложенные общие нормы именно потому, что она потеряла нить внутренней идейной солидарности. И в истории и в системе вышло то же самое. Романтика отказывается от формально-принудительной логики и от указаний рассудка. Чтобы мир не распался на атомы, она принуждена выработать своеобразное отношение к религии, которая позаботится о связующих условиях. Еще в 1799 году Новалис оплакивает пагубный рационализм современной культуры и мечтает о восстановлении христианской теократии<sup>50</sup>. Разнузданный гений, Фр [идрих] Шлегель, бежит от сомнений на лоно единственно спасающей католической церкви<sup>51</sup>. Шлейермахер пытается оживить протестантизм мистикой чувства<sup>52</sup>, Шеллинг разрабатывает положительную философию мифологии и откровения<sup>53</sup> в пополнение чисто отрицательной философии рационализма. Франц Баадер<sup>54</sup>, оправляясь от изучения средневекового мистика Якова Бёме<sup>55</sup>, совсем близко подступает к восточной церкви, ратует против папского примата, входит в сношения с импер [атором] Александром I<sup>56</sup>, принимает участие в подготовке Священного союза для обуздания революции и утверждения религии

<sup>97</sup> Отношение Шеллинга к романтикам прекрасно характеризовано у Гайма: [HaymR.] Die romantische Schule. [Ein Beitrag zur Geschichte des deutschen Geistes. Berlin, 1870.]

<sup>98</sup> Ср.: Haym [R.] Hegel und seine Zeit [iVorlesungen iiber entstehung und entwicklung, wessen und wert der Hegel' schen philosophic. Berlin, 1857. S.] 216.

светскими средствами<sup>57</sup>, пытается основать в России общество для воссоединения религии и науки. В сравнении с самым разнообразием этих попыток русский романтизм, конечно, имел существенное преимущество. Ему приходилось считаться с одной установленной религиозной формой, и потому колебания и свобода выбора прекращались тотчас, как признавалась необходимость искать убежище в религии. Зато, конечно, трудно было захватить с собою в это убежище многое из того, что было приобретено на свободе до обращения. В положении русских романтиков было менее компромисса и более подвига.

Но и те, и другие, и немцы, и русские не могли остановиться на одной идее религиозного обновления, хотя и считали ее главной. Они не смотрели на свое дело, как на попытку отчаяния и удаления в пустыню. Им представлялось, что они начинают новую эру в истории человечества. Им приходилось заботиться не только о примирении противоречий собственной души, но также об устройении общества и государства. В этом отношении также нужно было найти новые элементы связи. Одностороннее господство рассудка и логики осуждалось в политике не менее решительно, чем в теории познания. Выход был найден опять-таки в переходе от логики к психологии, и именно в коллективной психологии – в однообразии, которое действие одинаковых условий и наследственности вносит в жизнь народных групп. Однообразие это невольное, часто бессознательное, а между тем оно представляет могущественный фактор в истории. Те же романтики, которые протестовали против общеобязательной рассудочности, охотно подчинялись иррационализму, таинственному влиянию среды. И к ним на помощь явилось могущественное влияние исторических событий. В начале века раскрываются новые и плодотворные точки зрения на жизнь народов. Значительные неудачи в деятельности французской революции и империи заставили на время забыть о положительных заслугах и той, и другой. Реакция происходила не в одних правительствах, но и в обществе. Историческое изучение получило совершенно новый толчок оттого, что заметили, насколько отвлеченным политическим идеям приходится считаться с привычками, с интересами, с настроением людей. Революция выставила известную рассудочную программу – оказалось, что эта программа не годится по своей отвлеченности и общности. Народы Европы проявили себя не как собрания людей, всегда готовых перестроиться и измениться по соображению с теоретическими требованиями, а как своеобразные организмы, созданные веками, имеющие особые нравы и характеры. Чтобы влиять на них, приходилось прежде всего знакомиться с этими особенностями характера. И вот в тесной связи с романтикой возникает историческая школа права и изучения народной психологии. Чистые представители романтизма вроде Стеффенса<sup>58</sup> и Шлегелей<sup>59</sup> активно участвовали в этом движении, слава которого связана главным образом с великими именами Савиньи<sup>60</sup> и Гримма<sup>61</sup>. На время этнографический вопрос подчинил себе все историческое изучение. На основе народного характера воздвигали политическую теорию неподатливого консерватизма. Выходило, что и сословные привилегии, и политическая разрозненность Германии, и прусская военно-патриархальная монархия должны остаться вечно народными учреждениями.

В это время усиленно изучается история завоеваний и определяются степень и результаты племенных смешений, возникают школы романистов, германистов и, наконец, славистов, для которых эти антикварные вопросы получают значение злобы дня, перемешиваются с идеями патриотизма и отступничества. В общем великое историческое открытие повело, с одной стороны, к рассмотрению исторического материала с новых точек зрения, но также к несомненным, научным и политическим преувеличениям. Состав народной личности, «неизменный, как кости взрослого организма», оказывается при свете современной историографии иллюзией. В истории всех великих народов, несмотря на несомненное влияние традиции, происходили идейные и фактические перевороты, взаимодействия, применение к изменяющимся потребностям и условиям, которые свидетельствовали только о жизненности народа. Подстановка якобы неподвижных формул может только тормозить развитие; она в сущности оказы-

вается проявлением именно своего рода рационалистической рефлексии в борьбе с жизнью. Николай Станкевич метко выразился по этому поводу: «Чего хлопочут люди о народности? Надобно стремиться к человеческому: свое будет поневоле. На всяком искреннем и произвольном акте духа невольно отпечатывается свое, и чем ближе это свое к общему, тем лучше»<sup>99</sup>. Заметьте, что национальный элемент при этом не только не отрицается, но признается необходимым исходным пунктом всякой деятельности. Только цель надо ставить выше его, а не гнаться сознательно за особенностями, о которых позаботилась сама природа.

Упрек, заключающийся в приведенных словах Станкевича, еще чувствительнее, если обратиться к последнему из основных положений Киреевского. У него уже намечается провиденциальная роль России в общей связи мирового развития. Представление о великой смене народов, из которых каждый получает в свою очередь культурное руководство и двигает цивилизацию, дополняло историческое учение романтиков. Оно слабее выражено у Шеллинга, нежели у Гегеля, но тем не менее и у него есть попытка разбить историю на мировые периоды и распределить принципиальное движение идей между народами. Ближайшим образом повлиял на Киреевского в этом случае Чаадаев, которому, с его особой точки зрения, рисовалась новая эра международного единения под влиянием католической России, эра, способная устранить элементы раздора и отрицания, внесенные Реформацией и революцией. Киреевский, конечно, подставлял иное содержание под это решительное вступление России в историю. Но, подобно Чаадаеву, он интересовался более всего идейной ролью своего отечества и был весьма далек от увлечения материальной перспективой новых побед, завоеваний и господства. И он, и другие славянофилы все значение исторического будущего ставили в провозглашении новых принципов. Они думали, что эти принципы уже найдены. Обновление цивилизации православием и связанное с ним восстановление цельной и здоровой мысли – вот что видел Киреевский заложенным уже в русском народе и имеющим разрастись до мирового значения. Прочие вожди славянофильства добавили иные начала – своеобразное отношение между землей и государством, общинность. Против всех таких определений было давно сделано возражение, что странно формулировать результат культурного водительства народа, когда это водительство еще и не начиналось, когда народ вообще едва вступает на путь высшей культуры. Не лучше ли пока стремиться просто к разрешению открытых вопросов философии, науки, политики, хозяйства – стремиться по крайнему разумению и с напряжением всех сил, а затем предоставить отдаленному потомству подвести итог и определить особенность. Как трудно подводить такой итог на ходу, показывает хоть пример немцев, которые гораздо раньше стали работать над культурой и пока, несомненно, больше для нее сделали, а между тем их попытки выразить историческое назначение германской нации обыкновенно находят сочувствие только среди них самих, а у всех других народов вызывают иронические возражения. Даже такое вошедшее было в общую моду определение, как то, что германцы внесли принцип индивидуальной свободы в историю, в настоящее время едва ли найдет много защитников. Если философски-исторические характеристики такого рода, особенно вошедшие в ход после Гегеля, вообще представляются слишком схематичными и произвольными, то провозглашение культурной задачи начинающего народа прямо неуместно. История России заложена в таких громадных размерах и рассчитана, очевидно, на такие обширные периоды, что нет надобности спешить с некрологом.

В заключение считаю необходимым вновь напомнить, что моя цель была представить попытку исторической оценки исходного момента славянофильства. Такая оценка включает элементы критики, потому что показывает факт в развитии и раскрывает его преходящий характер. В этом смысле метод Гегеля действительно господствует над историей. Но тот же

---

<sup>99</sup> Анненков: Биография Н. В. Станкевича, стр. 169 [Н. В. Станкевич. Переписка его и биография, написанная П. В. Анненковым. М., 1857. С. 169 (отд. паг.)].

метод учит, что крупные исторические явления имеют всегда свое оправдание. Они не явились даром и не проходят бесследно, хотя впадают в искажения и вызывают оппозицию. Школа, которая выставила таких мыслителей, как Хомяков, и таких деятелей, как Юрий Самарин, без сомнения, заслуживает названия крупного исторического явления. И подобно сродным ей немецким школам, она выдвинула точки зрения, имеющие и отрицательную, и положительную стороны. Ее построения оказались весьма существенными как противовес рассудочной схоластике, беспочвенному космополитизму и узкой государственности. Практические заслуги ее, может быть, еще значительнее теоретических.

И все-таки критика может уже показать ее смертную сторону Образование славянофильства связано с романтическим течением, безмерно преувеличившим значение иррациональных элементов в жизни и истории.

Фаустовская неудовлетворенность давно тревожит европейскую культуру: раскол между знанием и жизнью, ограниченность самого знания, медленность науки, противоречия философии – все это беспокоит и соблазняет мысль. Но про себя дух-соблазнитель говорит другое:

Да, презирай познания и ум,  
Источник главный сил, прельщайся мишурою...  
Тогда, любезнейший, ты мой!<sup>62</sup>

Чтобы не оканчивать словами злого духа, хотя бы поучительными, сошлюсь в заключение на благородного, безвременно умершего современника Киреевского – Николая Станкевича, который в ярких выражениях указал на руководящее значение умственного начала: «Человек, который имеет душу, любит искусство и сознает что-то похожее на разум и гармонию в куче разных разностей, которую он называет природой, человек, который верит иногда уму, например, хоть в том, что  $5 \times 5 = 25$ , не должен бояться свободного хода мысли ни в каком отношении... Ты, который признаешь разум и любовь мира, ты отрицаешь совершенно, находишь нелепость в организации ума, который есть венец создания – один ум имеет потребности, которых он удовлетворить не может, один он урод в Божьем создании, изгнанник из общей гармонии, и это оторванное звено Вселенной называется частицею Божества. Такое убеждение – нелепость»<sup>63</sup>.

И все, что пережито Россией с того времени, как велись эти споры, утверждает нас в убеждении, что дорога к всемирно-историческому призванию остается по-прежнему одна – от мрака к свету!

## Т.Н. Грановский

Человеку свойственно стремление подняться над своею ограниченной мелкою жизнью, примкнуть к высшему целому, более долговечному и значительному, пожертвовать этому целому своими интересами и силами. Народ и церковь, государство и город, сословие и семья, даже хозяйственные, литературные, военные соединения сдерживают личный эгоизм и в то же время раздвигают рамки человеческого существования.

Но нельзя не заметить в людях и другого, как бы обратного стремления. Если отдельная личность живет не только в себе, но и в обществах, к которым принадлежит, то, с другой стороны, общественная связь тогда становится особенно сильною и обязательною, когда она перестает быть отвлеченным, рассудочным, безличным понятием: у людей есть средство придать ей горячую жизненность, они постоянно стремятся «воплотить» государство, народ, могущественную корпорацию в лице вожаков или руководителей. Языческие боги, человекообразные представители сил природы, пали, но «представительные» люди, герои появляются и теперь, и не только для того, чтобы стать во главе войска или правительства: всякая организованная общественная сила, которая обнаружила свое значение и жизненность, наверное, выставила таких великих людей, к которым обращается ее гордость, в личности которых живут ее дух и стремления.

Россия не особенно богата такими организованными общественными силами: сама география позаботилась о том, чтобы общество вышло гладкое. На громадной русской равнине естественно сложились единое государство и единая церковь, которые подавили второстепенные группы. Тем более важны и дороги те соединения, которые проявили самостоятельную жизнь и деятельность под охраной общих политических условий: без них общество рисковало бы впасть в мертвенное однообразие. Одним из таких сильных союзов, которые имеют свою славную историю и оказали благодетельное влияние на историю отечества, является Московский университет. Конечно, в известном смысле университет учреждение государственное, составленное правительством по известным правилам и руководимое состоящими на общей государственной службе лицами. Но всякий настоящий университет опирается еще на другое основание для своей деятельности: он служит науке, а наука имеет свои правила и законы, никакому государству не подведомственные. Московский университет в течение почти полуторавекового существования потому и стал таким видным и авторитетным учреждением, что в нем сложилась и держалась самостоятельная научная традиция. Могущественному государству Русскому, конечно, нечего было опасаться подобной самостоятельности, оно только выигрывало от того, что в его среде образовалось соединение, оказывавшее бескорыстное, благородное, идеалистическое влияние на своих членов.

В истории своей Московский университет прошел через различные периоды, не все одинаково благоприятные и славные; имел он за свое долгое существование много более или менее достойных представителей, но едва ли мы ошибемся, сказав, что в общем мнении лучшей эпохой в жизни университета были 40-е годы нашего века и что в эту эпоху самым достойным и блестящим представителем корпорации был Грановский. Слышались иногда и протесты против такой оценки, но протесты единичные. Если даже предположить, что и время, и герой подверглись некоторой идеализации со стороны потомства, что придирчивая критика могла бы там и сям поубавить восхвалений, в основании факт останется не поколебленным. К подобному возвеличению всего лучше приложима пословица: глас народа – глас Божий. Очевидно, мы имеем тут дело с крайне важным и характерным моментом в жизни университета, имеем дело с личностью, которая, во всяком случае, удовлетворила главным из требований, предъявляемых русским обществом к профессору. Мне хотелось бы не изложить перед вами биографию Грановского, это превосходно сделано А. В. Станкевичем<sup>64</sup>, а отметить наиболее

характерные черты его деятельности как историка, преподавателя, университетского деятеля и, наконец, участника русской общественной жизни.

Надо признаться, что знаменитый профессор попал на московскую кафедру в значительной степени благодаря случайности. В молодости его чуть не сгубила беспечность отца, который совершенно не заботился о его воспитании. Да и впоследствии юридический факультет Петербургского университета, на который он поступил, ничего ему не дал для будущей деятельности, и что он приобрел в студенческие годы, то приобрел самостоятельным и беспорядочным чтением по истории и философии. Выход был прямой – в чиновники, и Грановский начинает службу секретарем гидрографического департамента при морском министерстве. Надо думать, что он, во всяком случае, не удовлетворился бы канцелярской работой и повышениями, но трудно сказать, каким путем пошло бы его дальнейшее развитие, если б его не наметил, как и многих других выдающихся людей того времени, граф Строганов<sup>65</sup>. В помещики он тоже не годился, для журналистики у него не хватало задора и спешности. Как бы то ни было, в 1837 г. он был командирован за границу и тут в сущности в два года положил основание своему историческому образованию. Повторяю, он уже раньше читал много, преимущественно французских и английских историков – Тьерри<sup>66</sup>, Гизо, Мишле<sup>67</sup>, Гиббона<sup>68</sup>, Юма<sup>69</sup>, но за два года пребывания в Германии он уже не собирал сведения только, а вырабатывал основы своего научного мировоззрения. Этим основам он остался верен и впоследствии, хотя постоянно следил за литературой, восполнял пробелы и совершенствовался. Во всяком случае, у него не произошло тех резких перемен в образе мыслей и основных построениях, которые имели место в жизни многих ученых. Эта цельность его умственной личности сильно облегчает ее изучение.

Как световые лучи собираются в фокусе человеческого глаза, так в голове мыслителя сосредотачиваются и своеобразно преломляются лучи идей, которые надают на него с разных сторон, из различных умственных центров его времени. Особенность Грановского как историка выяснится, когда мы познакомимся с его отношением к пятидесяти руководящим школам первой половины нашего века.

История не так давно еще подверглась полному превращению. Из второстепенной разновидности изящной литературы она сделалась вдруг великою общественною наукой и косвенный толчок к этому был дан переворотом в конце XVIII века. Французская революция оказалась каким-то колоссальным и произвольным опытом, произведенным над европейскими порядками и учреждениями. Значительная часть их рушилась, но не менее значительная обнаружилась совершенно непредвиденное сопротивление. Оказалось, что, кроме расчета и устройства, приходится принимать во внимание в политике привычки, инстинкты, наследственность, преемственность. Все это отсылало к изучению истории, и XIX век принялся за это изучение с энергией, о которой не помышляли века предшествовавшие. Прежде всего выдвинулось под этими влияниями учение о *своеобразности* исторических форм. XVIII век рассуждал о едином и отвлеченном человеке, XIX стал присматриваться к особенностям государств, народов, классов и лиц. Это сказалось на отношении к самой передаче фактов. Нибур<sup>70</sup>, а вслед за ним и Ранке<sup>71</sup> исходили из наблюдения, что всякий рассказ о событиях своеобразен, т. е. налагает на событие известную окраску, которую надо определить и устранить, чтобы добраться до истины. Отсюда пошла историческая критика, перекрестный допрос свидетелей, который иногда, особенно в руках Нибура, приводил к совершенному крушению общепринятых взглядов на события.

Молодой русский, вступивший в Берлинский университет, прямо встретился там с критическим направлением в лице Ранке. Он принял участие в упражнениях по разбору источников, из которых вышло столько первоклассных немецких историков, слушал и лекции Ранке и понял высокое значение этого учителя, что далеко не всем удавалось. О лекциях по истории

французской революции он писал: «Я ничего подобного не читал об этой эпохе; ни Тьер<sup>72</sup>, ни Минье<sup>73</sup> не могут сравниться с Ранке. У него такой простой, не натянутый, практический взгляд на вещи, что после каждой лекции я дивлюсь, как это мне самому не пришло в голову. Так естественно. Ранке, бесспорно, самый гениальный из новых немецких историков»<sup>100</sup>. Но, поучаясь самой технике исторической работы, удивляясь трезвости взгляда Ранке, Грановский не в состоянии был следовать за ним безусловно и не сделался его учеником в настоящем смысле слова. Когда Ранке от предварительной критики переходил к комбинациям фактов, к указанию их внутреннего смысла, он не вполне удовлетворял нашего молодого ученого. «Его главное достоинство, – говорил Грановский студентам в 1843 году, – состоит в живописи характеров: лица воскресают у него. Другая характеристичная черта его состоит в критическом такте, в выборе и отделении истинного от ложного. В нем есть и замечательные недостатки: неестественный слог, и он увлекается страстью к характеристикам. Преследуя историческое лицо, он выпускает из вида общую идею»<sup>74</sup>.

Отношение Грановского к делу еще более выясняется, если от Ранке перейти к Нибуру, истинному родоначальнику критического направления. Биографический очерк, напечатанный в «Современнике» [18]50 года<sup>75</sup>, начинается так: «С именем каждого оставившего прочный след в литературе писателя мы привыкли соединять какое-нибудь представление, характеризующее особенности его таланта. Такого рода представления и выражающие их постоянные эпитеты не всегда бывают справедливы. Кто скажет, например, почему при имени Нибура неизбежно приходит в голову мысль о сухой, разрушительной критике, отвергающей поэтические предания древнего Рима? Пора бы, кажется, свести итог всех этих явлений и представить верный отчет о заслугах Нибура в науке, снять с него странное обвинение в скептицизме и показать, сколько было положительного в его выводах и сколько поэзии в его воззрении на историю»<sup>101</sup>. Выясняя положительную сторону работы Нибура, Грановский обращался по преимуществу не к утомительным исследованиям великой «Римской истории», а к живым очеркам нибуровских лекций. Там он находил симпатичные для себя черты. «Нибур был одарен необыкновенною способностью переноситься в прошедшее не только воображением, но личным участием. В этом заключается творческая, чисто поэтическая сторона его таланта. Когда он начинал говорить о каком-либо значительном лице греческой или римской истории, он тотчас извлекал из своей изумительной памяти всю современную обстановку, припоминая малейшие подробности и отношения, и становился сам в ряды горячих приверженцев или врагов описываемого лица. О нем можно без преувеличения сказать, что он пережил сердцем борьбы всех великих партий Греции и Рима»<sup>102</sup>. Таким образом, указана была необходимость пополнить односторонность критических работ, в самой деятельности творца критического метода подчеркнута положительное творчество. Являлся, однако, вопрос, есть ли эта созидательная работа следствие только художественной силы писателя, его личного поэтического дарования, его обширного знакомства с жизнью и способности представлять себе прошедшее как настоящее или можно установить формулы, правила общего характера, которые выводили бы к истине и деятелей менее одаренных, обеспечивали бы научную доказательность построений?

Рядом с Нибуром и Ранке стояли другие корифеи исторической науки, которые подробнее формулировали поучение, данное XIX веку опытом французской революции. По мнению Савиньи и Эйхгорна<sup>76</sup>, история раскрывает не только своеобразность исторических форм, но и основное начало их развития. Начало это – бессознательный, органический рост. Мало сказать, что люди не похожи друг на друга, что нельзя говорить о человеке вообще. Люди стали не

<sup>100</sup> Биография, стр. 72. [Станкевич А. В. Тимофей Николаевич Грановский: (Биографический очерк). М., 1869.].

<sup>101</sup> Соч [инения Т. Н. Грановского. М., 1892. Третье дополненное издание. Ч.] II, 7, 8.

<sup>102</sup> Соч. II, 49.

похожи, обособились в племена, народы и государства не под влиянием уговоров или сознательных решений, или преднамеренных расчетов, или открытий законодателей, а в силу медленного влияния условий, стихийного творчества народной массы, которая приспосабливается к условиям, наконец, давления наследственности, которое с каждым новым поколением все растет и все более стесняет область сознательного изменения. Как слагается язык, так создаются право и учреждения: при появлении народа в истории вырабатывается известный склад, основа, народный характер, с которым волей или неволей согласуется последующее. Признавая бесконечную силу исторической преемственности, школа Савиньи естественно сделалась школой исторического консерватизма. Грановский сочувствовал протесту против отвлеченной рассудочности XVIII в. и глубоко усвоил учение об органическом росте народной личности, но он не расположен был останавливать этот рост слишком рано и не признавал, чтобы народ находился в течение всей своей деятельности под роковым и неизбежным влиянием привычек, приобретенных в его младенчестве. Полное уподобление государственных форм и права с языком казалось ему сильно преувеличенным. Вообще, признавая заслугу направления для выяснения идеи исторической преемственности, он считал необходимым отметить и противоположное влияние – постоянную и чем дальше, тем более сознательную работу каждого поколения над материальными условиями. Если растет бремя наследственности, то растет и сила сознательного воздействия; в борьбе того и другого и состоит история. Своим университетским слушателям Грановский выразил это, между прочим, так: «Глубоко знакомые с памятниками древности, с постепенным развитием права, они по чувству весьма извинительному пристрастились к этой старине, не допускали никакого уклонения от прошедшего. Главный упрек, который можно сделать этим корифеям исторической школы и их приверженцам, заключается в том, что они хорошо понимали прошедшее, но не понимали настоящего и будущего»<sup>10377</sup>

Естественный противовес одностороннему консерватизму школы Савиньи нашел наш ученый в трудах французских либеральных историков. Тьерри, Гизо, Мишле самостоятельно выработали историческую литературу, которая могла поспорить с немецкой по достоинству и влиянию на умы. «Никогда французская историография не стояла так высоко», – свидетельствовал Грановский. Отличительной чертой, проходившей во всех ее произведениях, были интерес к современности, надежды на будущее и желание повлиять на его течение, попытки объяснить современность как результат издавна подготовленных движений, в частности изучение исторической филиации либеральных начал, которые оказывались совсем не продуктом внезапной вспышки XVIII столетия, совсем не результатом умозрений одного или двух поколений. Гизо выяснял исторический рост представительной системы и противоположность в развитии Англии и Франции – противоположность, глубоко отразившуюся в их современном положении; Тьерри углубился в изучение средних классов и в особенности в историю городского строя, их воспитавшего; Мишле воссоздал с художественной силой культурную историю французских народных масс. Много раз отзывалось в позднейшей деятельности Грановского влияние французской школы. Успех французов он прямо приписывал оживляющему влиянию великих исторических событий, совершившихся на их глазах. На публичных лекциях 1845 года он сказал про «Lettres sur l'histoire de France»<sup>78</sup>: «Там находится несколько писем об освобождении городов – это лучшее место у Тьерри и, может быть, лучшее во всей исторической науке».

В конце 30-х – начале 40-х годов Грановский замыслил и готовил обширную работу о городе в древней, средней и новой истории. План не осуществился, но и в том, что осуществилось, многое объясняется духовным общением с французскими учеными. Докторская диссертация об аббате Сугерии<sup>79</sup> составлена и проведена в духе Тьерри и именно его «Писем о фран-

<sup>103</sup> Курс 1843-[18]44 гг.

цузской истории». Заметно и влияние Гизо, которое также отразилось на средневековых курсах русского профессора и на публичном его курсе 1845-46 года. Последний представляет, однако, в то же время поучительный контраст с курсами Гизо; он гораздо менее схематичен, чем «История цивилизации во Франции» или «История представительных учреждений»<sup>80</sup>, больше обращает внимание на явления духовной жизни, которая у Гизо, как известно, ступенька перед жизнью политической. Построение не так ясно и стройно, но зато целостнее, разнообразнее. Грановский не любил «резать по живому», как он сам выражался, и потому избегал рубрик и резкого дробления на периоды и стороны предмета. Его сочувствие к французам не мешало ему, таким образом, относиться к ним самостоятельно.

Помимо отдельных несогласий, он не находил у них одного капитального условия, которое уже вступило в историческую науку и вполне оценено было Грановским по своему значению. Исторические работы критической, консервативной, либеральной школ далеко продвинули изучение отдельных исторических явлений, эпох, народов. Они подготавливали и крупные обобщения: учение об исторической своеобразности, об органической преемственности, о народном духе или характере, об эволюции сословно-представительных учреждений далеко выходило за пределы разрозненных и случайных наблюдений. Но как ни широки были эти обобщения, они не давали достаточных оснований для систематического учения о жизни человечества. А между тем за таким учением обращалось к истории образованное общество и попытки такого общего построения были сделаны в Германии. Гегель дал философскую формулу которая должна была объяснить все мироздание, природу и историю. Он провел через все формы жизни закон диалектического развития, по которому всякое определение или утверждение вызывает сначала противоположное утверждение или определение, а затем обе крайности примиряются на третьем, объединяющемся и высшем определении, которое, в свою очередь, становится исходным пунктом подобного же процесса. Основания такого движения идеи Гегель находил в логике, в человеческом мышлении, но законы этого мышления считал основными и для всей внешней природы, которая есть тоже проявление духа, мысли божественной. В истории, с этой точки зрения, не было беспорядка и случайности. В ней проглядывала необходимая последовательность идей, носителями которых являлись народы и поколения. Идеи эти возникают, отталкиваются, побеждают друг друга, примиряются в высших определениях не сообразно с случайной встречей и силой их носителей, а по своему внутреннему значению, по требованиям диалектической последовательности развития. Эта смелая и стройная теория оказала громадное влияние на жизнь XIX века, и можно сказать, что нигде это влияние не было так сильно, как в России. Русские мыслители более всех других требовали у науки полных и общих решений. Они нетерпеливо относились к технике отдельных наук, не хотели затеряться в частностях и с восторгом восприняли общие формы Гегеля. Вместе с другими увлекался и Грановский. Его, как и многих других, направлял к Гегелю Николай Станкевич. Грановский жаловался другу на свои сомнения относительно громадного запутанного материала, который ему приходилось преодолевать. Станкевич отвечал: «Оковы спали с души, когда я увидел, что вне одной всеобъемлющей идеи нет знания. Другое дело – прагматический интерес к науке, тогда она – средство, и это занятие имеет свою прелесть; но для этого надо иметь страсть, преодолевающую все труды, а к этакой страсти способны люди односторонние. Ты не из этого рода людей: это можно узнать, взглянувши на тебя. Больше простора душе, мой милый Грановский! Теперь ты занимаешься историей, люби же ее, как поэзию – прежде, нежели ты свяжешь ее с идеями, – как картину разнообразной и причудливой жизни человечества, как задачу, которой решение не в ней, а в тебе, и которое вызовется строгим мышлением, приведенным в науку. Поэзия и философия – вот душа сущего»<sup>104</sup>. В Германии от всех специальных занятий Гранов-

<sup>104</sup> Анненков: Н [иколай Владимирович] Станкевич []. Переписка его и биография, написанная П. В. Анненковым. М., 1857], стр. 197 [отд. паг.].

ский постоянно возвращался к Гегелю. Здоровый и больной, он не покидал этого путеводителя. «Сочинил себе какое-то преглупое правило, что не покоряться должно природе, а идти ей наперекор, и с этим правилом не хочет ни на минуту оставить своего Гегеля и историю», – писал о своем товарище Я. М. Неверов<sup>81</sup>, сильно встревоженный его болезненным состоянием<sup>105</sup>. Испытав на себе благодетельное влияние этой философии, молодой ученый рекомендовал ее и другим. Он писал своему товарищу Григорьеву<sup>82</sup>: «Меня мучили те же вопросы, над которыми ты ломаешь голову. Ты говоришь, что ты во всем сомневаешься, но ты убежден в невозможности знать что-нибудь. Имеем ли мы право доверять отрицательным результатам наших сомнений? Нет. Мы можем, мы должны сомневаться – это одно из прекрасных прав человека, но эти сомнения должны вести к чему-нибудь; мы не должны останавливаться на первых отрицательных ответах, а идти далее, действовать всею диалектикой, какую нас Бог одарил, идти до конца, если не абсолютного, то возможного для нас. Хаос в нас, в наших идеях, в наших понятиях, а мы приписываем его миру. Точно как человеку в зеленых очках все кажется зеленым, хотя этот цвет у него на носу только. „Wer die Welt vernünftig ansieht den siet sie auch vernünftig an“<sup>83</sup>, – говорит Гегель. И это едва ли не величайшая истина, сказанная им. Положим даже, что при всех твоих усилиях ты теперь не пойдешь далее отрицательных ответов, которые были результатом твоих первых исследований. Что же это доказывает? Только то, что твоя диалектика еще не укрепилась, что ты не умеешь еще перейти из одного определения в другое, противоположное. Займись, голубчик, философией... Это вовсе не пустая, мечтательная наука. Она положительнее других и дает им смысл. Учись по-немецки и начинай читать Гегеля. Он успокоит твою душу. Есть вопросы, на которые человек не может дать удовлетворительного ответа. Их не решает и Гегель, но все, что теперь доступно знанию человека, и самое знание у него чудесно объяснено...»<sup>84</sup>

Но опять-таки и преклонение перед Гегелем разве в первое время было безусловным. Оно воспитало в Грановском стремление к объединению исторических знаний. Он остался верен взгляду, что каждый народ и эпоха являются носителями известных идей, что политическое соперничество народов и смена деятелей на исторической сцене должны быть рассматриваемы не как результаты случайных обстоятельств, а в их отношении к идейному прогрессу культуры. Но он был слишком причастен работе историков-специалистов, чтобы остаться вполне во власти философа, распорядившегося историческим материалом по своему произволению. Русскому легко было, конечно, протестовать против распределения мировых периодов и задач в философии истории – распределения, при котором германскому племени оставалась великая и печальная честь сказать последнее слово культуры. Убежденному либералу прусская монархия не представлялась венцом политических форм, и первая половина XIX в. казалась временем еще весьма далеким от осуществления лучших надежд человечества. Главное – и по натуре, и по подготовке Грановский не мог принести жизненность конкретных фактов в жертву отвлеченному, философскому плану. Он видел прошедшее слишком ясно, чтобы не заметить, что он гораздо богаче содержанием, чем допускала диалектическая схема Гегеля. Он не в состоянии был так пригибать и урезывать историческую жизнь какого-нибудь народа, чтобы она вошла без остатка в отведенное ей по плану место. Ему свойственно было не раздавать народам и поколениям приличные им в общем строе идеи, а прислушиваться к голосу каждого, изучением и сочувствием доходить до исконных стремлений и заветных мыслей. Потребность и надежда на объединение истории остались, но достигнуть его становилось намного труднее историку, внимательному ко всякому праву, чем деспотическому философу. Надо было, по меньшей мере, определить, насколько процесс мышления, диалектический процесс, осложняется в действительности материальными условиями, при которых мыслят люди.

---

<sup>105</sup> Биография, стр. 62.

Ведь ход мыслей, конечно, зависит не от одного логического сцепления их, а значительно определяется обстановкой: голодный думает не совсем то, что сытый, праздный – не совсем то, что рабочий, мореплаватель – не совсем так, как земледелец, лапландец – не совсем так, как негр. При оценке материальных факторов нельзя было не столкнуться с значением и методами наук естественных.

Первый том Бокля<sup>85</sup> вышел в 1857 г. Грановский не дожил до него. Но «История цивилизации в Англии» готовилась задолго до ее выхода из типографии, готовилась, как все крупные явления умственной жизни, попытками целого ряда мыслителей. К этой подготовительной работе Грановский отнесся чутко и сочувственно.

Уже в Берлине, несмотря на Гегеля, Грановский стал пристально заниматься тою почвой, на которой развивается история. Преподавание Риттера<sup>86</sup> показало ему землю, как храмину, созданную Провидением для рода человеческого. Приходилось убедиться, что устройство земной поверхности, распределение вод, условия климата, плодородие почвы и тому подобные факты, совсем не диалектические, оказывают самое решительное влияние на судьбу людей. Положим, чем значительнее человеческая культура, тем лучше она справляется с природой, но как долго воспитываются племена под преобладающим давлением этих естественных условий! Очевидно, от этого долгого воспитания должен сохраниться глубокий след в характере и взглядах народа. Да и до сих пор не ясно ли, что громадные массы людей связаны и определены в своей жизни именно естественными условиями? Внимание к естественно-историческому фактору, раз возбужденное Риттером, не ослабело, а, напротив, возрастало. В лице Фролова<sup>87</sup>, организовавшего в России географический журнал «Магазин землеведения», Грановский имел близкого товарища, который поддерживал в нем интерес к географическим занятиям. В 1847 году Ефремов<sup>88</sup> открыл географический курс в Московском университете и мотивировал свое начинание в выражениях, которые являлись как бы отголоском Риттера и Грановского. От географии был один шаг до этнографии: племя наряду со страной являлось естественно-историческим элементом, определяющим человеческое развитие. Необходимо было заняться изучением так называемых диких племен, т. е. как раз того громадного большинства человеческого рода, которое жило или живет под преобладающим влиянием естественных условий и не поднялось до диалектической разработки идей в истории цивилизации. Грановский живо интересовался «малыми сими». Он читал о множестве путешествий, и его лекция об Океании и ее жителях может свидетельствовать об его этнографических познаниях<sup>89</sup>. Во введении к своему учебнику он определял историю как науку о земной жизни человечества. При таком широком определении она включает общую этнографию. При этом оставалось во всей силе значение культуры, приобретаемой историческими народами, но подчеркивалось, что нет препятствий для культурного возвышения и диких племен. Гуманное чувство Грановского не допускало радикального разделения человечества на привилегированные и низшие расы. Он, безусловно, вооружался против теорий, которые находили немало приверженцев в то время как среди гордых своим образованием европейцев, так и на рабовладельческой почве Америки. «Человечество, имеющее слиться в лоне христианства в одну духовную семью, уже составляет семью естественную, соединенную общим праотцом Адамом. Допустим такое родство, существующее между обитателями земного шара, мы должны необходимо принять и истекающую из этого родства равную способность всех пород к образованности и совершенствованию»<sup>106</sup>. Обширные этнографические сведения Грановского давали ему возможность подойти к вопросу о племени с научной точки зрения. Он с восторгом приветствовал начатки антропологии, перевел и снабдил примечаниями письмо Эдуардса<sup>90</sup> к Амедею Тьерри<sup>91</sup> о физических признаках пород и их устойчивости<sup>92</sup>. Вопрос о племени был жгучим вопросом в то время,

<sup>106</sup> Соч. II, стр. 462.

когда особенно интересовались определением племенных характеров и часто определяли их пристрастно и произвольно. В связи с этими занятиями у Грановского являлся план написать монографию о галлах и на примере этого племени показать значение племенных признаков. Дело не состоялось, но в курсах нашего ученого немало следов работы над этими вопросами. В публичном курсе 1845<sup>года</sup> напри[м]ер [ер], видное место занимает определение племенного состава французской и английской национальностей, особенно первой. Разнообразие племенных элементов приписывается большое влияние в истории.

И так, через посредство географии, этнографии, антропологии, Грановский приходил в соприкосновение с естествознанием и получил возможность значительно умерить философское увлечение гегельянства. Следуя за знаменитым биологом Бером<sup>93</sup>, он в актовой речи 1852 года признал, что «ход всемирной истории определяется внешними физическими условиями, влияние отдельных личностей в сравнении с ними ничтожно»<sup>107</sup>. Но, освобождаясь от односторонней и произвольной схемы Гегеля, Грановский по всему складу своего образования не способен был предоставить себя и в исключительное руководство естествознакам. В общении с Герценом он признавал великие результаты естествознания, но протестовал против материализма, как философского, так и научного, настаивая на том, что явления мира духовного и нравственного, при всей своей зависимости от физических условий, не разлагаются без остатка на последствия этих условий, а вносят, кроме того, в мировую жизнь своеобразные элементы, которые требуют и своеобразного изучения. «У истории две стороны: в одной является нам свободное творчество духа человеческого, в другой – независимые от него, данные природою условия его деятельности. Новый метод должен возникнуть из внимательного изучения фактов мира духовного и природы в их взаимодействии. Только таким образом можно достигнуть прочных, основных начал, т. е. ясного знания законов, определяющих движение исторических событий. Может быть, мы найдем тогда в этом движении правильность, которая теперь ускользает от нашего внимания»<sup>94</sup>.

Мы перебрали основные направления исторической науки первой половины нашего века и показали отношение к ним Грановского. Повсюду обнаружилась отзывчивость нашего ученого, свобода и широта его мысли, способность оценить крупное и плодотворное без предвзятости и пристрастий. Но повсюду обнаружилась и самостоятельность ума, критическое отношение, которое предохраняло от крайностей или, по меньшей мере, освобождало рано или поздно от их господства. Остается спросить, как под всеми этими влияниями, среди всех этих спорящих начал окончательно сложилась личность мыслителя, как определились для него задачи науки, к чему направилась и чего достигла его личная работа?

Помимо отдельных мест в сочинениях, лекциях, переписке, можно воспользоваться тремя главными источниками для характеристики его основных взглядов: подробным конспектом введения к курсу всеобщей истории, который Грановский составил перед тем, как начать чтения в университете в 1839 году; конспект этот пополняется студенческими записями – и то, и другое пока не издано<sup>95</sup>. Затем, на акте 1852 г., произнесена была речь о современном состоянии и значении всеобщей истории<sup>96</sup>. Наконец, составляя в 50-х годах учебник по своему предмету, Грановский предпослал ему введение, которое вкратце резюмирует его взгляды<sup>97</sup>. Между этими тремя характеристиками есть разница в подробностях, главные идеи остались те же.

Грановский ищет закона и порядка в колоссальной массе фактов, переданных историей. Что в ней важно и что неважно? Всего знать нельзя и не стоит. Какие мерила можно установить для выбора и оценки? XVIII век подбирал факты с точки зрения их непосредственной пользы для человека. Но что такое польза? То, что полезно для одного, может быть вредно

---

<sup>107</sup> Соч. I, стр. 14.

для другого. То, что полезно для немногих, может быть вредно для массы; то, что полезно для ума, может быть вредно для сердца; то, что полезно для одного поколения, вредно для другого. Очевидно, нельзя свести историю на сообщение о бесспорных открытиях, изобретениях, частных усовершенствованиях. Не лучше мерило влияния, которое предлагали другие представители XVIII века. В руках замечательного ученого – Шлецера<sup>98</sup> —это мерило обращалось на оценку чисто материального давления человеческих обществ. Измерение площади государств и численности населения приобретало первостепенную важность. Чингисхан<sup>99</sup> и Тамерлан<sup>100</sup> становились по своей силе разрушения высшими деятелями истории, маленькие Афины затерялись в ничтожном уголке Балканского полуострова.

Не было недостатка в попытках выйти из таких грубых определений, поставить начала полезности и влияния более косвенным и тонким образом. Уже древние занимались так называемую прагматическую историей, стремились подвести причинное объяснение для отдельных фактов и полагали пользу истории в том, что своим восхождением от следствий к причинам она научит политических деятелей влиять на причины, чтобы произвести следствия. В действительности эта прагматическая литература всегда грешила двумя капитальными недостатками: во-первых, при постоянном изменении исторических комбинаций никак не удавалось установить непосредственного перехода от анализа прошедшего к обработке настоящего; во-вторых, сам анализ прошедшего сводился к определению мелких условий, второстепенных влияний, случайных вмешательств; в нем не выдвигались элементы постоянные и потому главные, объединяющие.

Средневековое церковное понимание первое выдвинуло могучую объединяющую идею, которая тотчас организовала исторические сведения. Средневековая церковь, начиная с Августина<sup>101</sup>, поняла историю как взаимодействие двух сил – греховной человеческой природы, которая влечет светскую жизнь человечества к неудержимому упадку, и божественной благодати, которая через посредство церкви подготавливает спасение избранных в Граде Божиим. Новая история отказалась от такого понимания. За немногими исключениями, ее мыслители уповают, что природа человека имеет в себе залог и возможность совершенствования, что самая земная жизнь человечества не обречена на роковое разложение. XVIII век в лице Лессинга<sup>102</sup>, Гердера<sup>103</sup>, Кондорсе<sup>104</sup> выразил горячую веру в прогресс<sup>105</sup>. История была понята как воспитание рода человеческого, а не как его развращение. Идея прогресса оказалась благотворным, спасительным заветом, способным воодушевить людей, дать им силу в борьбе со злочлечениями жизни или бедствиями времени. Кондорсе исповедовал эту светлую веру в тюрьме, приготавливаясь умереть, – он одержал духовную победу над жалкими случайностями людского существования.

Идея прогресса является первой основой исторического миросозерцания. Под ее влиянием история распадается на всемирную и на всеобщую. Всемирная обнимает все народы, захватывает весь этнографический материал. Всеобщая выделяет то, что вошло вкладом в человеческую культуру описывает и объясняет прогрессивное движение человечества. Но как совершается это движение? Очевидно, не по прямой линии и даже не под теми правильными углами, которые предполагала диалектика Гегеля. Поступательное шествие обуславливается тем, что идет вперед не единый народ, а сменяющие друг друга путники. Идея прогресса осложняется идеей органического развития. Каждый народ принимает участие в шествии, вступает в него в юности, проходит свою дорогу, в период роста и образования вырабатывает более или менее своеобразным и односторонним образом свои цели и идеи, мало-помалу костенеет в них, останавливается, опускается и уступает место более свежим деятелям. Путь длинный и конца его не видно, но видно направление к свету, свободе и правде, и этого довольно для стремящихся. В чем же значение истории, всеобщей истории? Она не научит разрешить сегодняшнюю задачу и предотвратить завтрашнего несчастья. Но она покажет, что в длинной веренице

есть смысл, единый и благодетельный, и что потому стоит жить, стоит биться над задачами, претерпевать несчастья. Пусть попробуют образованные, снабженные всеми средствами люди воспитать в себе дух Кондорсе. Пусть помнят они, что история есть великая воспитательница человечества и что отдельный человек не имеет лучшего средства усвоить себе результатов этого воспитания, как продумав и прочувствовав последовательность его развития. Много поколений прошло к великому кладбищу истории, – они извели и радость жизни, и бремя труда, и муку смерти, и надежду бессмертия. Завещали они и нам, своим потомкам, стремиться к добру и бороться со злом и оставили нам на помощь лучшее, бессмертное, что сами выстрадали. Но чтобы принять завещанное, мало протянуть руку к готовым результатам, перенять открытия, сноровки, сведения. Нравственной силой становится завещанное только для тех, кто вник в самый процесс борьбы. Нельзя стать культурным человеком, не овладев так или иначе историей. И если бы она занимала свое истинное место в образовании юношества и общества, культура стояла бы тверже – не подвергались бы постоянно вопросу самые ценные и бесспорные ее приобретения.

Так выяснялась для Грановского руководящая идея его занятий – идея всеобщей истории. Самая постановка задачи до некоторой степени определяла методы изучения и изложения. Мало привлекал анализ исторических явлений. Грановский не пренебрегал критикой источников, толкованием актов, разъединением условий исторической жизни для более удобного изучения их порознь. Но все это имело для него второстепенное и подготовительное значение. Он избегал сложных аргументаций, не любил резко проведенных разделений, восставал против чисто логических схем, в том числе и против гегелевской. Может быть, самую слабую его работой была магистерская диссертация об Иомсбурге<sup>106</sup>, в которой он взялся за мало свойственную ему роль аналитика, представил в угоду ученому цеху ряд соображений о подлинных и ложных элементах предания и в конце концов не вытерпел – вставил длинную живописную сагу о норманнских набегах.

Другая его работа – о родовом быте у германцев<sup>107</sup> – также характерная: он выставляет ряд положений по спорному вопросу об отношениях между родом и сельской общиной, выставляет для ученых и в специальном журнале, принимая во внимание специальную аргументацию Эйхгорна, Вайца<sup>108</sup>, Зибеля<sup>109</sup>. Точка зрения выбрана очень удачно, основные взгляды определены с большою осторожностью, знанием дела, чувством меры. Но ученый аппарат сведен к минимуму и потому статья более возбуждает мысль, чем доказывает ее.

Истинная сила Грановского заключалась в историческом синтезе, в способности сводить разрозненные и разнохарактерные факты в одно целое, указывать взаимодействие, зависимость. Эта драгоценная его способность нужна для истории не менее, нежели сила анализа; нужна она, в сущности, и в других науках, хотя в основе эта способность художественная, поэтическая. Нельзя ни в каком знании обойтись одним логическим процессом. Самые замечательные открытия делаются чутьем или отгадыванием, за которым уже впоследствии следует логическое оправдание. Особенно велика область художественного творчества в истории, потому что она охватывает все формы жизни в прошедшем и главной своею задачей ставит не характеристику отдельных сторон хозяйств, права, литературы, науки, религии – порознь, а изображение сложного взаимодействия, так называемой *жизни*. И вот именно чувством жизни и умением раскрыть ее другим обладал Грановский в редкой степени. Нельзя сказать про его курсы и статьи, посвящены ли они внешней или внутренней истории, учреждениям или идеям, материальным условиям или духовному процессу. Они посвящены историческому взаимодействию всех этих факторов и сторон.

В связи с этим его особенно интересовали переходные эпохи, когда совершается смена старого новым, когда приближается крушение давнего, когда-то славного и плодотворного порядка и обрисовывается уже физиономия нового, молодого строя. Конец Римской империи и

выступление на историческую сцену христианства и варваров, крестовые походы как переходное время от феодальной и рыцарской культуры к новой – промышленной, государственной, гуманистической, XV век и Реформация – зарождение новой Европы, – вот сюжеты, на которых он останавливался с особенною любовью. Здесь была богатая пища и его таланту рассказчика, его умению создавать образы живые и многозначительные; в драматическом переломе борьбы находило удовлетворение его поэтическое чувство; его волновал контраст мировых идей и трагическая судьба лиц и народов, которым приходилось их представлять и вынашивать; в этих эпохах, наконец, всего заметнее слышался шаг всеобщей истории, ее движение от одной культурной формы к другой, более совершенной.

Грановский был именно создан для всеобщей истории. В его руках эта наука была не трудолюбивою компиляцией чужих мыслей, как у Вебера<sup>110</sup> или Беккера<sup>111</sup>, не беспощадным судоразбирательством, как у Шлоссера<sup>112</sup>, не искусственным выделением международных явлений, как у гениального Ранке, не обширным введением к современности, как будет у Лависса и Рамбо<sup>113</sup>. Любопытно, что именно русский историк проявил необыкновенное дарование в этой области – любопытно и естественно. Не будет парадоксом сказать, что именно всеобщая история должна быть русской наукой. Русские имеют еще менее права уединяться в своей отдельной национальной культуре, нежели англичане, французы или немцы, на которых, впрочем, такое уединение действует достаточно вредно. С другой стороны, если русским нужна и близка вся общая гражданственность человечества, то им нет основания связывать себя изучением одной какой-либо отрасли или нации. Грановский всегда так и смотрел на дело и при своем из ряда вон выходящем таланте усвоил и передавал всеобщую культурную историю как никто из иностранцев.

Но, к сожалению, на нем сказались и другие, менее благоприятные условия русской жизни. Вебер, Шлоссер, Беккер написали всеобщие истории, Лависс и Рамбо, наверное свою напишут<sup>114</sup>. Грановский не написал, не напечатал, не закрепил свое изложение. Перед нами остались обломки, положим, обломки благородные. По поводу какой-нибудь бесцветной книжки, какой-нибудь диссертации Медовикова<sup>115</sup> о латинских императорах Грановский написал классические страницы о Византии в эпоху крестовых походов<sup>116</sup>. Разбор сочинения Шмидта по истории Римской империи обращался в красноречивую характеристику культурного брожения перед принятием христианства<sup>117</sup>. Публичная лекция о Людовике IX<sup>118</sup> может поспорить с лучшими произведениями французской литературы по изяществу, продуманности, многозначительности данного в ней изображения<sup>119</sup>. И все-таки это обломки, которые тем более заставляют жалеть о несделанном и недоконченном. Краткий срок был дан Грановскому для его славы и дела: 42 года прожил он, 16 лет преподавал в Московском университете. Много пришлось ему бороться с собой, со своею страстною натурой, с неудовлетворенною жаждой деятельности, практической борьбы. Часто посещала его тяжелая тоска, сознание беспомощности, отвращение к себе и к своему положению. Человек тонкой чувствительности, самостоятельного характера, выше всего ставивший право и человеческое достоинство, должен был быстро израсходоваться в тесной политической обстановке, предшествовавшей великим реформам Александра II<sup>120</sup>. В последние годы он чувствовал усиленный запрос на деятельность, внутренне оживал вместе с русским обществом, мечтал и подготовлял обширные работы. И тут его взяла смерть.

Нужно ли строить предположения о том, что бы он написал и сделал в освободительные годы? У нас есть более благодарная задача. Грановский не напечатал ни всеобщей истории, ни очерка переходных эпох. Но он 16 лет преподавал и оставил этим преподаванием глубокий след в истории русской мысли. Мы старались разобрать, в чем состояли его исторические идеи;

нам остается коснуться их приложения в живом влиянии на людей в университете, в Москве, в России.

Московский университет 30-х годов представлял довольно безотрадное зрелище, в особенности по отделу гуманитарных наук. Историю читали Каченовский<sup>121</sup> и Погодин. Первый совершенно устарел и сбился с толку. Его лекции описывает Юрий Федорович Самарин: «Каченовский в это время до того состарился, что не был в состоянии прочесть о чем бы то ни было лекции для слушателей своих; он читал про себя, над развернутой книгой, горячо спорил с автором ее, бранил его, одобрял, улыбался ему, но о чем трактовала книга, что нравилось или не нравилось профессору – все это для нас оставалось тайной»<sup>122</sup>. Погодин был человек знающий, умный и хитрый, но полудиккий, без всякого чувства достоинства, с весьма сомнительными нравственными взглядами. Особенно некстати было то, что он читал и всеобщую историю. Пока он следовал изложению Герена<sup>123</sup>, дело еще шло, но он пробовал и отделиться от него, и тогда происходило нечто совершенно несообразное.

Зато сороковые годы были не бедны замечательными людьми. В Москве собралось в это время блестящее общество, которому подобного нельзя было отыскать и в великих западных центрах. Киреевский, Хомяков, Константин Аксаков, Юрий Самарин, Герцен, Крюков<sup>124</sup>, Кавелин<sup>125</sup>, Соловьев<sup>126</sup>, Леонтьев<sup>127</sup>, Кудрявцев<sup>128</sup> и другие представляли самые разнообразные оттенки мнений, но все были люди отборные. И между ними перед общественным мнением, по крайней мере, первое место занял Грановский. Он был обязан таким положением не учености, не глубокомыслию, не своеобразности взглядов, а в значительной степени своему нравственному складу, который просвечивал в его статьях и еще более в его преподавании. Его любили слушать, потому что в его речи сказывался весь человек.

Нам трудно теперь составить себе понятие об этом обаянии. Остались студенческие записи его курсов, несовершенные, отрывочные, как большая часть таких записей. При просмотре их особенно поражает простота плана, отсутствие исконных эффектов, обстоятельность и добросовестность, с которой лектор касается всего существенного. Не видно никакого желания прикрасить предмет для аудитории. Нет намеков, эпохи взяты обыкновенно отдаленные от действительности. Автор, впрочем, нисколько не скрывает своих симпатий. Рыцарство и рыцарская честь, конечно, получают прочувствованную оценку в словах человека, который сам был рыцарем в лучшем смысле этого слова. Низшие классы, обремененные трудом и заклейменные презрением «лучших людей», везде вызывают глубокое сострадание. «В XII столетии монахи монастыря св. Германа вытребовали дозволение своим крепостным людям выходить на поединок с людьми какого бы то ни было сословия. В первый раз раб, несчастный раб был поставлен наравне с другими». Покаяние Генриха II Английского<sup>129</sup> у праха Бекета<sup>130</sup> является удовлетворением духовного права со стороны внешнего могущества. «Это было смирение грубой, материальной силы перед мужеством идей, которых носительницей была церковь в средние века. Сколько пути надо было пройти Генриху от того времени, когда он вырывал своими руками глаза у пажей, до того времени, когда он позволял себя бичевать перед телом Фомы. Церковь смягчила и укротила этого зверя». С особенным вниманием останавливался лектор на подвигах просветителей народа. Эпоху Карла Великого<sup>131</sup> он считал самым великим временем в истории. Альфред Великий<sup>132</sup> занимает чуть не главное место в публичном курсе 1845 года.

О внешней форме лекций и об ораторском даре преподавателя дают некоторые понятия 4 напечатанные лекции 1851 года. Форма классическая, единственная по соединению простоты и меры с гибкостью, образностью и силою. Странно далее подумать, что Грановского упрекали во фразе. До нас не дошло ни единого его слова, которое было бы сказано ради звона, и это решает дело: фразер не скрылся бы от потомства. Он всегда себя выдаст, потому что

не знает цены словам и тратит их охотно. Это мы легко можем сообразить и теперь. Но что нам совершенно недоступно, это неотразимое впечатление живой речи, ее таинственная, волнующая вибрация, наслаждение публики, присутствовавшей при импровизации, к которой не подходит шаблонный эпитет – блестящей, потому что дело было не в блеске отдельных периодов или сравнений, а в классической законченности и музыкальной гармонии всей речи. Единственное средство приблизить к себе те впечатления, это спросить хорошего ценителя тех времен, человека, который сам и умел сравнивать. Вот что говорил о Грановском как человеке и ораторе Сергей Михайлович Соловьев, по сообщению лица, близкого к знаменитому историку России. Он сравнивал Грановского с другим замечательным профессором, с Крюковым, который читал древнюю историю и словесность. Между талантом Крюкова и талантом Грановского такая же большая разница, как и между их наружностью: Крюков имел чисто великороссийскую физиономию, круглое полное лицо, белый цвет кожи, светло-русые волосы, светло-карие глаза; талант его более поражал с внешней стороны, поражал музыкальностью голоса, изящною обработкой речи; к нему как нельзя более шло прилагательное *elegantissimus*<sup>133</sup>, как студенты его величали; но при этой элегантности, щегольстве в нем самом, в его речи, в чтении было что-то холодное; его речь производила впечатление, какое производит художественное изваяние. Грановский имел малороссийскую южную физиономию, необыкновенная красота его производила сильное впечатление не на одних женщин, но и на мужчин. Грановский своею наружностью всего лучше доказывает, что красота есть завидный дар, очень много помогающий человеку в жизни. Он имел смуглую кожу, длинные черные волосы, черные, огненные, глубоко смотрящие глаза. Он не мог, подобно Крюкову, похвастать внешнею изящностью своей речи: он говорил очень тихо, требовал напряженного внимания, заикался, глотал слова; но внешние недостатки исчезали пред внутренними достоинствами речи, пред внутреннею силой и теплотой, которые давали жизнь историческим лицам и событиям и приковывали внимание слушателей к этим живым, превосходно очерченным лицам и событиям. Если изложение Крюкова производило впечатление, которое производят изящные изваяния, то изложение Грановского можно сравнить с изящною картиной, которая дышит теплом, где все фигуры ярко расцвечены, дышат, действуют перед вами. И в общественной жизни между этими двумя людьми замечалось тоже различие: оба были благородные люди, превосходные товарищи; но Крюков мог внушать большое уважение к себе, только не внушая сильной сердечной привязанности, ибо в нем было что-то холодное, сдерживающее; в Грановском же была неотразимая притягательная сила, которая собирала около него многочисленную семью молодых и немолодых людей, но, что всего важнее, людей порядочных, ибо с уверенностью можно сказать, что тот, кто был врагом Грановского, любил отзываться о нем дурно, был человек дурной.

Положение такого преподавателя в университете было и блестящее, и трудное. Все взоры обращались к нему. Не только его лекции, но и его поступки задавали тон, проверялись и обсуждались всем университетом. Но Грановскому нечего было бояться этой требовательности. Он был чист и честен и если вредил кому, так только себе. Студенты молились на него и порядочно мешали своему кумиру. Он был нарасхват, целые дни проводил в разговорах, совещаниях по всевозможным вопросам. Это, может быть, было и неудобно, и тягостно, но Грановский не умел отказывать. Зато у него и образовалась со студенчеством связь не только умственная, но и нравственная. В биографии приведено трогательное место из письма 1855 года, последнего года. Грановский ехал из деревни в Москву полный тяжелых впечатлений несчастной крымской кампании и раскрытого ею общественного распада. По дороге он встретил нижегородское ополчение и говорил с офицерами. Бывшие студенты горячо его приветствовали, говорили, что память о нем живо сохранилась в них, что она и в настоящее время одушевляла и поддерживала их в решимости служить Отечеству. Он писал жене: «Я сам видел (по дороге сюда) нижегородское ополчение и толковал с офицерами. Между ними очень много бывших студентов. Вот что сказал мне один из них, Х-ь: „Ни один из проживающих в Ниже-

городской губернии воспитанников Московского университета не уклонился от выборов. Мы все пошли. Зато другие над нами смеялись“. Я гордился в эту минуту званием московского профессора»<sup>108</sup>.

Понятно, что этот «московский профессор» и среди товарищей стремился поддержать чувства достоинства и высокого призвания. Он смотрел на университетскую корпорацию отчасти теми глазами, какими офицеры смотрят на свой полк. Честь университета едва не заставила его выйти в отставку в 1848 году. Один из ближайших к Грановскому людей и из самых даровитых преподавателей университета оказался взяточником и вообще запятнал себя низкими поступками. Редкин<sup>134</sup>, Кавелин и Грановский объявили, что не будут служить с ним, и подали в отставку. Редкина и Кавелина так и лишился университет. Что касается Грановского, то начальство удержало его на службе, и притом связав его честью. Ему было поставлено на вид, что он не отслужил еще за командировку, которою пользовался в конце 30-х годов. Если в данном случае Грановский поставил на карту свое положение, то характерно, что он и не думал об отставке в печальные годы, следовавшие за «февральской революцией». Это движение отозвалось в России целым рядом стеснений, из которых главные пали на университет. Известно, что число студентов было ограничено 300, что некоторые кафедры были закрыты. Общее положение обрисовывается, например, в истории, происшедшей с преподавателем философии в Московском университете, адъюнктом Катковым. Одной из мер для устранения вредных начал в университетах было истребование программ преподавания от профессоров. Между прочим, и адъюнкт Катков<sup>135</sup> подал программу по логике, психологии и истории философии. Программу эту рассматривал петербургский профессор философии Фишер<sup>136</sup>, немец, и нашел ее не соответствующею началам истинного христианства. Факультет вступился за своего члена. «По единогласному мнению факультета, основанному на самом внимательном наблюдении за преподаванием г. Каткова, сей последний никогда не отступал как в началах своей науки, так и в подробном изложении ее от истин христианской религии и церкви и не заслужил ни малейшего упрека в этом отношении, но снискал совершенную похвалу, особенно же в отношении к тому духу, который распространял он между учениками своими и который засвидетельствован был и публично рассуждением студента Бессонова<sup>137</sup>, прочтенным в присутствии его сиятельства г. бывшего министра народного просвещения С. С. Уварова<sup>138</sup> в 1848 году по предмету психологии»<sup>109</sup>. Это, однако, не помогло. Адъюнкт Катков вскоре подал прошение о том, чтобы его освободили от чтения по логике, психологии и истории философии. Кончилось тем, что он вышел из университета, а его курсы были переданы профессору богословия Терновскому<sup>139</sup>, хотя тот всеми мерами старался отказаться от них. Чувства Грановского в это время понятны. «Есть от чего сойти с ума, – писал он. – Благо Белинскому, умершему вовремя»<sup>140</sup>. Он, однако, считал себя обязанным оставаться на своем посту. И, странное дело, авторитет его был так велик, что как раз в это время ему удалось не только поддерживать на прежней высоте свое преподавание, но даже влиять на строгое начальство, отстаивать перед ним интересы университета. В 1850 г. ему даже было поручено министром составление учебника по всеобщей истории, в 1855 году он был избран и утвержден деканом словесного факультета.

Говоря о значении Грановского как университетского деятеля, мы в то же время касаемся и его общественной роли. Университеты всегда были не только педагогическими и научными учреждениями, но до некоторой степени и центрами общественной жизни, так как на них особенно сильно отражаются идеи, двигающие и волнующие общество. И никогда это свойство не было так заметно, как в Московском университете в 40-50-х годах. Особые условия тогдаш-

<sup>108</sup> Биография, стр. 293.

<sup>109</sup> Архив историко-филологического факультета 1850 года, заседание 3 июня.

него русского строя давали университету значительное положение. Гласность почти не существовала, государственная деятельность имела чисто бюрократический характер, литература и журналистика стояли под строгой цензурой. Общество поэтому прислушивалось к голосу с кафедры гораздо более, чем стало делать впоследствии.

Но понятно, что университетскими делами и деятелями не исчерпывалось общественное движение того времени. Оно находило и другие своеобразные формы. Это было время кружков. Никогда в Москве столько не собирались и не спорили. Это обсуждение общих вопросов изо дня в день одними и теми же собеседниками наложило определенный отпечаток на сами теории и их выражения в литературе. Мало-помалу взгляды отшлифовывались, если можно так выразиться, приобретали правильность, диалектическое развитие и некоторую искусственность. Не было того разнообразия, беспорядочности, необработанности, которые поражают в наше время.

Всем известно, что главная борьба происходила между лагерями славянофилов и западников. Здесь не место входить в подробное изложение и критику этих теорий. Но мы не можем не коснуться общей их противоположности уже ввиду того, что Грановский вместе с Белинским и Герценом являлся главным оплотом западничества.

На поверхности спора лежал вопрос об усвоении Россией западной культуры. Но дело не состояло просто в том, что одни считали всякое усвоение полезным, а другие – вредным, что одни защищали древнюю Россию, а другие – новую. Разница сводилась не к таким грубым противоположностям, чтобы уяснить ее себе, надо прежде всего указать, что об теории были в целом ряде пунктов согласны друг с другом. Славянофилы, подобно западникам, допускали усвоение полезных приемов, знати, памятников литературы и искусства. Западники, подобно славянофилам, во многом упрекали новую Россию – и тем, и другим был не по сердцу петербургский бюрократический строй. И те, и другие, наконец, признавали по Гегелю возможность и необходимость исторической смены дряхлеющих народов более свежими и сильными. Но одни находили, что все основные культурные начала Россия должна искать в себе самой, что религиозный и политический материал достаточен для дальнейшего развития. Другие утверждали, что удовлетворяться этим материалом значит останавливаться на первоначальных ступенях развития, отказываться от западноевропейских идей значит отречься от великого наследия общего культурного развития, которое прошло через Западную Европу раньше, чем через Восточную, и потому должно быть усвоено Востоком с Запада. Одни восставали против всей практики петербургского периода и примирялись с организацией правительственной власти, поскольку она перешла к петербургскому периоду от московского; другие горячо защищали дело Петра<sup>141</sup> как культурное обновление и в то же время желали продолжения этого дела как политического обновления. Одни думали, что в преемственности великих народов не только найден наследник для дряхлеющего Запада – Россия, но что дряхлый Запад умер, гниет, и остается только вступить в наследство. Другие находили такое притязание очень преждевременным и советовали подождать, пока действительно заглохнет в Европе духовное творчество, а Россия обнаружит свою силу не только в предварительной работе государственного и хозяйственного строительства, но и в сфере высшей культуры, выдвинет новые и плодотворные идеи, создаст свои духовные памятники. И в сущности в глубине этих споров лежало коренное разномыслие в понимании основного принципа – культуры. Славянофилы имели в виду культуру народную, которая усваивается непосредственно большинством, широкие религиозные и политические обобщения, которые почти бессознательно вырастают в народе под влиянием его племенного предания, общего исторического и географического положения, форм труда, климата, наконец, начальной школы или проповеди. Эти формы действительно определились уже в древней России, и славянофилы считали прямо вредным подвергать их дальнейшим видоизменениям. Западники отталкивались от понятия культуры как сознательного творчества человечества. Дело великих мыслителей было для них не простою надставкой к

общей жизни людей, а высшим ее выражением. Различая народы дикие и исторические, они различали дальше полусонную жизнь темного люда, беспомощного и несчастного от своей темноты, и сознательную самодеятельность людей, которые знают, какая великая сила человеческая мысль. Они видели в истории, как духовные приобретения немногих делались достоянием всех и как высшие идеи становились рычагом для улучшения в быте масс. Не будь высшей, идейной культуры, до сих пор существовало бы рабство. Ни один из этих идеалистов и в уме не имел отгородиться от массы, этим требованием высшей культуры создать основание для умственной аристократии, для самодовольного господства меньшинства. Напротив, вся их деятельность была направлена на то, чтобы поднять массы до себя, дать им досуг и образованность, дать им личность.

Понятно, на какую сторону в этом споре должен был стать Грановский. «Многочисленная партия подняла в наше время знамя народных преданий и величает их выражением общего непогрешимого разума. Такое уважение к массе неубыточно. Довольствуясь созерцанием собственной красоты, эта теория не требует подвига. Но в основании своем она враждебна всякому развитию и общественному успеху. Массы, как природа или как скандинавский Тор<sup>142</sup>, бессмысленно жестоки и бессмысленно добродушны. Они коснеют под тяжестью исторических и естественных определений, от которых освобождается мысль только отдельная личность. В этом разложении масс мыслью заключается процесс истории. Ее задача – нравственная, просвещенная, независимая от роковых определений личность и сообразное требованиям такой личности общество»<sup>110</sup>. Он не мог не быть западником. К этому вела не заграничная командировка и не занятие иностранным материалом, а все понимание истории, основной принцип этого понимания – идея всеобщей истории. Грановский признал, что существует некоторое общее историческое движение в отличие от всех частных, признал, что показателем этого движения служит прогрессивная выработка идей, признал, что каждый шаг вперед отправляется от предшествовавшего, признал, что в жизни народной это равносильно усвоению чужеземной культуры вступающим на смену народом. Практические приложения к России были очевидны. Необходимо было сделать западную цивилизацию своею, чтобы одолеть ее и пойти дальше. И Грановский был слишком взискателен, чтобы ошибиться относительно того, в какой степени эта подготовительная работа пополнена. Он не видел еще в России той «новой науки», которую провозглашал Хомяков, возмущался, когда говорили о гражданском распаде Запады люди, сидевшие в грязи крепостного права.

Мы уже настолько отошли от этих споров, что можем попытаться взглянуть на них беспристрастно. Великою несправедливостью было бы признать заслуги и победы только за одними и презирать других. Увлечения были и на той, и на другой стороне, но в то же время и та, и другая стороны выражали своим спором борьбу двух широких мировоззрений. В известном смысле сталкивались философия бессознательного и философия сознательности. А в жизни России и та, и другая партии сделали свое дело. Славянофилы первые обратили внимание на народ как целое, на его привычки и учреждения; с энергией и правдой отстаивали значение его «роковых определений» в противоположность попыткам как правительства, так и образованного общества; наконец, смело исповедовали самостоятельное значение религиозных идеалов, религиозной жизни. Главная сила западников была в их требовательности; они напоминали, что для справедливости и истины «несть Эллин и Иудей, раб и свобод»<sup>143</sup>, не давали успокоиться на полдороге, требовали подвигов высшей духовной жизни, искали, прежде всего, гуманности.

Прежде всего человечность, – сказал Грановский, и за одно это слово о нем никогда не забудут в России. Высока была цель, велики препятствия, но несокрушима была вера в свой народ и силу добра.

---

<sup>110</sup> Соч. II, стр. 220.

Еще лежит на небе тень,  
Еще далек прекрасный день,  
Но благ Господь: Он знает срок,  
Он вышлет утро на Восток<sup>144</sup>.

## Русский политический мыслитель

Группа так называемых славянофилов, возникшая в Москве примерно в середине девятнадцатого века, заслуживает внимания во многих отношениях. Ее приверженцы оказали значительное влияние на ход внутренних и внешних дел. Но, помимо этого, они обнаружили в своем отношении к проблемам их времени определенные склонности и привычки мысли, от которых едва ли можно отказаться даже сейчас. Я бы хотел сказать несколько слов об одном из этих интересных мыслителей – Константине Аксакове, наиболее замечательном представителе славянофильской концепции русского политического развития.

Имя Аксаковых хорошо известно. Я сомневаюсь, чтобы какое-либо другое имя стало столь характерным для славянофильства в Англии и вообще на Западе. Такую большую известность приобрел Иван Аксаков, председатель Славянского комитета в Москве<sup>145</sup>. «Таймс» не опубликовала ни одной длинной телеграммы о какой-либо из речей, произнесенных его старшим братом Константином, и все же он был до некоторой степени более замечательной личностью из них двоих. Как в случае всех этих московских дворян мы должны принять во внимание семейные традиции. Аксаковы вышли из Оренбургской губернии, с дальнего востока европейской России. Их отец<sup>146</sup> был первоклассным писателем и имел весьма своеобразный характер. Он был великим спортсменом, страстным любителем театра и одним из наиболее гостеприимных людей в Москве, городе всегда и заслуженно известном замечательным гостеприимством. Он не проявлял какого бы то ни было интереса к политике и обольщался заблуждением, что он изменил своему призванию, когда стал чиновником и сельским помещиком вместо того, чтобы пойти на сцену. Только в конце жизни он обратился к описанию вещей, которые он знал лучше, чем кто-либо еще. В своих публикациях о рыболовстве и охоте на дичь<sup>147</sup> он предстал не просто как прекрасный спортсмен, но как любитель Природы, который знает, как сделать каждое слово в своих описаниях выразительным. Другой великий спортсмен, Тургенев<sup>148</sup>, открыто выражал безграничное восхищение им: «Эту книгу нельзя читать без какого-то отрадного, ясного и полного ощущения, – говорит он, – подобного тем ощущениям, которые возбуждает в вас сама природа; а выше этой похвалы мы никакой не знаем»<sup>149</sup>. Аксаков превзошел все в двух книгах воспоминаний о тихой, патриархальной жизни его семьи в далекой губернии<sup>150</sup>, из которой он приехал. Эта семейная хроника была переведена на французский и немецкий языки<sup>151</sup>, и она является классической, как простая, точная и жизненная картина провинциальной семьи в начале девятнадцатого века – ничего выдуманного, ничего скрытого – история, полная правды, простоты и, так сказать, благоухающая свежим бодрящим воздухом степного края. Биография Константина Аксакова поистине неразрывно связана с биографией его отца. Константин был вроде титана-идеалиста, совершенно не годного для чего-нибудь, кроме исследования. Он никогда не женился, никогда не пытался сделать карьеру, жил до сорокалетия в доме своего отца и сразу же потерял силы, когда его отец умер. Это была поучительная и исключительная история – это увядание человека, который выделялся как своим высоким духом, так и своей физической силой! Такой же фанатичной серьезностью пропитана литературная деятельность Константина: он не замечал многих вещей, он не воспринимал значение понятий, он просто отдал все свое сердце нескольким предметам своих занятий – ребенок и титан одновременно.

Главным делом Константина Аксакова стало выдвижение новых идей относительно русской истории. Он начал с того, что выступил против тех ученых, которые хотели сделать древнюю историю страны результатом родовой организации и развития, похожего на развитие кельтских кланов. Эта теория имела весомых сторонников в лице историка Соловьева и пра-

воведа Кавелина. Казалось, что дискуссия обратилась к древним вопросам, но на деле это было не так. Аксаков доказывал, что в то время как род управляется вождем или старейшинами, основополагающим элементом русской истории с самых древних времен была община, управляемая демократическим собранием, на котором председательствует вождь. Такие общины он находил на различных ступенях русской политической организации – таких как сельская община, демократический совет или вече киевского периода и национальное представительство или Земский собор московского периода. И поэтому он искал редкие фрагменты свидетельств, подходящих для того, чтобы доказать, что народ был организован в демократические общины и вполне способен сделать свое мнение услышанным в политических делах.

В то же время Константин Аксаков отвергал всякое желание развивать республиканскую теорию. Он даже не хотел быть либералом в европейском смысле слова – он ненавидел любые такого рода призывы западников. Относительно России он открыл любопытную двойственность принципов: с одной стороны – земля, с другой – государство. Земля состоит из общин и является общинной организацией самого народа, но она сама по себе не касается исключительно политических дел. Все, что касается права, принуждения, внешней власти, передано в руки государства, и в таких вопросах земля имеет только совещательный голос. Аксаков считал, что добровольное подчинение государству является отличительной чертой русской истории. Она начинается не с завоевания, а с призвания варяжских вождей русскими племенами. Нравственное единство народа существует помимо силы меча; оно зависит от убеждения, от братской любви. Но мир не может быть удовлетворен таким единством, это мир вражды, поэтому внешний порядок должен вмешаться, чтобы сделать единство совершенным – внешний порядок с его государственным управлением, его тюрьмами и солдатами. Русский народ поддерживает нравственное единство на высоком уровне, но не придает слишком большого значения правовым формальностям. Именно поэтому он удовлетворен политической организацией, которая сосредотачивается вокруг царя. Чем яснее и проще структура государственной власти, тем лучше. Со стороны народа не предпринимаются попытки вести государственные дела непосредственно им самим, это ошибка, характерная для европейского либерализма. Это романтическое представление русского развития не соответствовало реальному положению дел в николаевской России, и даже такой мечтатель, как Константин Аксаков, не мог ничего поделать, замечая этот факт. Его объяснение состояло в том, что современная Россия была направлена по ложной колее благодаря влиянию германских элементов, допущенных в течение петербургского периода. Аксаков никогда не переставал противопоставлять московское прошлое петербургскому прошлому и настоящему. Его надежды на будущее сосредотачивались в убеждении, что царь, исторический лидер народа, поймет основополагающий дуализм русской жизни и приведет проявления государственной власти в соответствие с устремлениями, происходящими из свободного самосознания нации.

Я обращаю внимание на эти взгляды не для того, чтобы защищать их. Они непрактичны и романтичны. Но в них есть зерно истины постольку, поскольку они признают значение, по крайней мере, двух аксиом русского развития – необходимости мощной центральной власти, способной удержать империю вместе, и жизненной важности общественного мнения, свободного от принуждения и формализма.

## Пророческий жизненный путь

Ход событий в современной России обращает нас все чаще и чаще к памятникам политической мысли и политической деятельности середины девятнадцатого столетия.

Так называемые московские славянофилы, которые были поистине русскими националистами, преисполненными чувством величия их народа и его призвания в мире, представляют особенно интересную галерею выдающихся личностей, выражающих многие тенденции, которые они сами вновь и вновь отстаивали самым решительным образом. У меня уже была возможность в последнее время рассказать об Иване Киреевском и о Константине Аксакове<sup>152</sup>, философе и историке этой группы. Сейчас я хотел бы описать кратко дела Юрия Самарина, величайшего государственного деятеля из славянофилов.

Когда официальные власти обратились за поддержкой интеллектуального класса во время периода реформ шестидесятых годов, московская группа выступила вперед, и интересно проследить, как теоретические споры подготовили ее к участию в управлении. Самарин был выдающимся представителем славянофильства в этом отношении.

Как и Киреевские, Хомяковы, Аксаковы, он принадлежал к этому замечательному классу русского дворянства, которому так долго принадлежало первенство как в умственных поисках, так и в социальной жизни. Его личное развитие было замечательно ранним. В возрасте двадцати лет он удивил французского либерала Могена<sup>153</sup> разнообразием своих знаний, ясностью и силой своих высказываний, решительностью своего характера. И последующие события показали, что он не был из числа тех блестящих и поверхностных людей, которые рано развиваются, но быстро истощают свои силы. Как раз напротив, он постоянно углублял и усиливал свой характер, и действительно может рассматриваться как яркий представитель политических способностей великой русской расы. Он стал выдающимся благодаря своей железной воле, четкости целей, неутомимой деятельности, благодаря своеобразию понимания, высокой культуре и литературным достоинствам. Он был красноречивым в выступлениях и публикациях, но его красноречие было отмечено особой печатью – оно заключалось не в плавности или гладкости высказываний, которые так поражают, не в поэтическом вкусе и богатстве красок. Его манера напоминала прочный, острый клинок, который сверкает, так как сделан из блестящей, отполированной стали. Его идеи нельзя отделить от его биографии, и я дам краткую оценку того и другого.

Первое стремление молодого человека было направлено к деятельности ученого. Ему хотелось стать профессором Московского университета, игравшего ведущую роль в литературном движении. И он действительно начал заниматься, чтобы получить степень магистра, которая в России является первым шагом к профессорскому званию и для получения которой нужно сдать экзамен и подготовить исследование. Самарин получил степень на основании очень хорошей биографии Феофана Прокоповича, архиепископа времен Петра Великого. Выбор и трактовка предмета достаточно характерны: это исследование теологической жизни в России во время великого кризиса в ее истории, и автор изучает Прокоповича и Стефана Яворского<sup>154</sup>, соперничающих иерархов этой эпохи, как представителей протестантской и католической тенденций в Русской церкви. Его собственная цель – поразить одного с помощью другого и превознести православие в его особом положении. Таким образом, эта книга не просто биография, она направлена на то, чтобы проанализировать догматические различия и поместить их в обстановку национальной истории. Влияние гегельянства сильно чувствуется, и Самарин сам упоминал об этом и других исследованиях своих ранних лет с добродушной иронией: «Построение русской истории по гегелевскому закону двойного отрицания занимает [...] первое место [в исследованиях этого времени]. [Молодой друг Константина Аксакова] трудился

над сочинением, в котором доказывал, что Гегель, так сказать, угадал православную церковь и *a priori* поставил ее [...] одним из моментов [...] в логическом развитии абсолютного духа»<sup>155</sup>.

Это было схоластической тренировкой, тем не менее и прогресс мысли Самарина вскоре вывел его за пределы искусственных концепций. Он без устали читал о религиозных предметах и обсуждал их, но он думал, довольно многозначительно, что период творческой теологии прошел и что просто необходимо объяснить то, что было сделано ранними отцами церкви. Римская католическая доктрина догматического развития вызывала у него в высшей степени отвращение, и он уверял, что великой целью являлось усиление личной стороны религии, чувства личной связи с Богом через Церковь. Его работа была прервана желанием его отца, чтобы он начал служебную карьеру. Во многом вопреки своим склонностям он вынужден был оставить мысль о преподавании в университете и переехать в Петербург, где он вступил в министерство юстиции. Петербург оказался ему совсем не по душе, как и следовало ожидать в случае с молодым человеком, только что покинувшим московские собрания, где каждая ночь приносила какой-нибудь спор по вопросам об основном начале и учении. Самарин нашел петербургское общество уставшим от жизни из-за иссушающей работы в канцеляриях и министерствах.

Он воспользовался первым случаем, чтобы покинуть столицу. В 1846 году его назначили в комиссию в Риге, целью которой было подготовить отчет о положении крестьян в Лифляндии и предложить необходимые изменения в аграрном устройстве, сложившемся в результате освобождения крестьян в 1819 году. Юрий Самарин, несмотря на то, что был всего лишь молодым секретарем комиссии, стал ее духовным лидером. Его работа в этот период просто удивительна, и она заложила основание большинства его убеждений и великих дел его жизни. Он составил длинный отчет об истории освобождения в Лифляндии, изучил вопрос во всех балтийских губерниях и в Пруссии, написал очерк об аграрном законодательстве Штейна<sup>156</sup> и Гарденберга<sup>157</sup>, наметил вчерне основные выводы комиссии, к которой он был прикомандирован. Едва он закончил все это, как ему поручили изучить городское устройство Риги, работу, которой он посвятил себя с таким же усердием и исследовательским увлечением.

Результаты его наблюдений относительно балтийских губерний были по своему характеру поразительными и революционными. Он пришел к выводу, что немецкое население, составляющее маленький правящий и мыслящий класс в стране – фактически землевладельцы и купцы, – было стойко предано своим особым национальности и институтам, совершенно враждебным по отношению к какому-либо объединению с Россией и преисполненным пренебрежения и презрения к русской жизни. Представители правительства вместо того, чтобы бороться за единство государства, обычно становились на сторону баронов и бюргеров немецкого происхождения, отчасти потому что они рассматривали их как представляющих привилегированные классы, которые всегда должны поддерживать правительство, отчасти потому что балтийские немцы имели сильное влияние в Петербурге через своих членов в высших учреждениях и через свои придворные связи. Результатом являлось совершенно ненормальное положение вещей. Русские элементы были практически изгнаны из губерний; русский язык не признавался даже в официальной переписке, православная церковь вынуждена была играть унижительную роль рядом с лютеранским вероисповеданием, признанным *Landeskirche*<sup>158</sup>, признанная церковь в губерниях; огромное большинство населения, местные латыши и эсты, находились полностью в руках немецкого меньшинства, отрезанные насколько это было возможно от прямой связи с русским правительством и систематически трактуемые как подчиненная раса, единственная надежда которой на достижение прогресса заключается в присоединении к немецкой культуре. Социальные проявления этой балтийской автономии были столь же ненормальны, как и национальные проявления. Крепостные крестьяне были действительно освобождены в 1819 году, но их освобождение было только личным и таким, что явилось изменением к худшему, потому что они потеряли все свои земельные владения и опусти-

лись до положения зависимых работников. Земля была без привлечения всеобщего внимания признана исключительной собственностью немецкого землевладельца, и крестьянин вынужден был заключать сделку с ним, чтобы иметь право пользования хозяйством и лугом. Наделе он был во власти барона, который стал хозяином не только земли, но и мирового суда и полиции. Самарин отметил все проявления этого курьезного *ancient regime*<sup>159</sup>, созданного и защищаемого на почве превосходства немецкой культуры. Он подготовил записку с оценкой этих фактов и в то же время с обвинением официальных властей этих губерний. Она ходила в рукописи в Петербурге и в Москве. Непосредственным результатом стало то, что молодой чиновник был вызван в Петербург и заключен в тюрьму как политический преступник. Однако он находился там только две недели. Император Николай<sup>160</sup> вызвал его на аудиенцию. Встреча произвела на Самарина глубокое впечатление. Несмотря ни на что, император был очень любезен с ним, хотя он открыто заявил, что оскорблен случившимся.

«Понимаете ли Вы, в чем Вы виноваты? – спросил он. – Вы были посланы с поручением от Вашего начальника [...]; но рядом с этим Вы вели записи и вносили в них свои суждения о предметах, которые до Вас не касаются. [...] Вы составили [...] книгу и сообщили ее своим близким знакомым. [...] Это уже было преступление против служебных обязанностей Ваших [...]. Вы хотите принуждением, силою сделать из немцев русских, с мечом в руках как Магомет [...] Мы должны любовью и кротостью привлечь к себе немцев. [...] Ваша книга [...] стремится подорвать доверие к правительству и связь его с народом, обвиняя правительство в том, что оно национальные интересы русского народа приносит в жертву немцам.

[...] Я хотел узнать, не ожесточились ли Вы, [...] что у Вас доброе сердце; я не ошибся. [...] Теперь это дело конченное. Помиримся и обнимемся»<sup>161</sup>.

Можно предположить, что Самарин не возражал царю настойчиво и что он был счастлив, что отделался так легко. Однако он не был переубежден, и мы увидим, что он вновь вернулся на свои позиции, как только обстоятельства позволили это.

В это время он оставил службу, вернулся в Москву, присоединился к кружку своих друзей славянофилов и написал ряд журнальных статей в защиту своего учения. Мы находим его, упрекающим западников в бессердечии по отношению к бедным людям из низшего класса: «Они нужны вам только в дни суровых испытаний». Он обсуждает относительные достоинства индивидуализма, представленного в истории германских народов, и духа общины, который пропитывает прошлое славянских народов. Одна идея повторяется постоянно, а именно то, что в эволюции человечества славяне намерены оставить свой след, оказав содействие принципу общины. Он замечает, как общественное мнение на Западе начинает отвергать эгоистическую политику *laissez faire, laissez passer*<sup>162</sup>, как революционное движение становится угрозой европейскому обществу, потому что низшие классы не считают существующий общественный порядок ни справедливым, ни выгодным, как сами правительства начинают допускать в свои программы определенные положения социалистической доктрины. И он приходит к выводу: европейская жизнь ищет то, что мы уже имеем. Наша история сохранила общинное устройство крестьянства, и это устройство усилено религиозной организацией народа, которая так же основана на понятии братства. Этот общинный принцип, возможно, еще существует в какой-то степени среди западных наций, но они необдуманно отказались от него, в то время как русские оказались способны сохранить и развить его сознательно.

Изучение Самариним крестьянской общины не было просто пустым разговором, но основывалось на глубоком знании сельской жизни и на выводах, сделанных из различия между русскими и балтийскими работниками. Несмотря на крепостное положение первых, они были в лучших условиях, чем последние, потому что они были собраны в сельские корпорации и наделены землей. Все эти исследования и теории стали очень важны, когда крушение николаевского режима привело к реформам. Самарину принадлежит слава служения своей стране с

неутомимым усердием, всесторонним знанием и прозорливой предусмотрительностью в великой работе освобождения. Он был во всех значительных комиссиях конца 50-х – начала 60-х годов. Он всемерно содействовал успеху политики, которая защитила земельные интересы крестьянства и оградила их новую свободу путем усиления общинной организации. Я не могу сказать больше, поскольку мне пришлось бы входить во все детали мер, связанных с социальным возрождением России, но даже общий намек на его работу в это время может быть полезным.

Приобретенный опыт вскоре оказался полезным в другой области и в совершенно иных условиях. То же крушение николаевского режима, которое породило реформаторское движение в России, привело к революции в Польше. Поляки не хотели смириться с тем, чтобы оставаться разорванными и зависимыми от трех держав, разделивших их страну. Отношение Франции и Англии давало им некоторую надежду на иностранную помощь. Даже среди русских либералов они встретили много симпатии. Но когда пришло время для действия, оказалось, что сами поляки далеко не одинаково думали и раскололись на Белую и Красную партии, представляющие консервативные и радикальные принципы. Европейские доброжелатели не пошли дальше того, чтобы посылать протесты, вызывавшие раздражение России, поскольку они были лишены практического смысла. И в России угрожающее западной границе движение вызвало взрыв национального чувства и сосредоточение народа вокруг царя, чтобы встретить все возможные случайности. Самарин восхищался мужеством и отчаянным патриотизмом поляков, он отзывался о них: «Современные поляки – высокотрагическое явление»<sup>163</sup>, но он не сомневался ни на минуту относительно его и каждого русского обязанности в данном случае. Он подготовил набросок адреса царю от имени дворянства его губернии, в котором он категорически заявил о решимости отстоять национальное дело, если понадобится, в борьбе со всей Европой. Когда реальная борьба подошла к концу, правительство вынуждено было обратить свои мысли к трудной работе переустройства страны, и оно пошло привычным путем, назначив для этой цели комиссию, составленную главным образом из людей, которые зарекомендовали себя как лидеры общественного мнения, а не как бюрократы. Во главе ее был Николай Милютин<sup>164</sup>, статс-секретарь и один из решительных проводников крестьянского освобождения, но человек нелюбимый и третируемый придворными кругами. Его главными помощниками были Юрий Самарин, князь Черкасский<sup>165</sup> и А. Кошелев, все в это время не связанные с официальной службой и представители московского славянофильского направления.

Условия были довольно трудными, особенно для людей, которые не верили в простое усмирение, а хотели сделать какое-нибудь реальное дело. Их ведущая идея заключалась в том, что неприязнь к русскому правительству и постоянные вспышки восстания происходили из высших классов, тогда как польское крестьянство являлось сопротивляющейся им стороной и на самом деле хорошо расположенным к правительству как средству защиты от панов, больших и мелких землевладельцев, которые обращались с ним даже намного хуже, чем русские помещики привыкли обращаться со своими крепостными. Поэтому правильная политика совпадала с требованиями социальной справедливости. Необходимо было освободить крестьянство, наделить его землей и организовать в общины в какой-то мере по русскому образцу для того, чтобы оно могло сохраниться в будущей конкурентной борьбе. Это означало бы создание широкой и прочной основы для русского влияния в Польше. Эта точка зрения, хотя и преувеличивала антагонизм между классами польского народа и была слишком оптимистична относительно завоевания симпатий крестьян, являлась тем не менее сильной концепцией и могла дать значительные результаты, если бы реформаторам позволили не только начать воплощать ее на практике, но и следить за ее дальнейшим развитием. Во всяком случае, действие Милютина и его коллег было во многих отношениях революционным, но их не пугали слова и сопротивление русских придворных, которые представляли их настоящими якобинцами. Они не

получили официальной признательности, но они и не стремились к этому, и их работа, во всяком случае, была важным вкладом в социальное развитие русской Польши.

Элементом, который нелегко было искоренить и который противостоял русскому воздействию, было церковное влияние. Самарин сожалел об этой силе, которая во многом содействовала тому, чтобы изменить славянские особенности Польши и обратить ее передовые позиции против православной славянской державы. В то время было уже поздно предпринимать что-либо подобное активной пропаганде против католицизма, но сильное чувство, направленное против римского клерикализма, нашло свое выражение в книге об иезуитах, которая была написана после возвращения Самарина из Польши. В ней подробно исследуются моральные доктрины иезуитов казуистов и прослеживается связь между ними и общей политикой Римской церкви.

Тот же польский опыт еще раз указал Самарину на первостепенную важность балтийского вопроса. В 1869 году он начал публикацию своей наиболее известной книги «Окраины России». В появившихся томах балтийские проблемы обсуждаются в том же духе, которым диктовались его ранние работы в 40-е годы.

«Мы сохранили все, но потеряли Польшу из-за правительственной политики, которая упускает из виду реальную трудность положения и обращает внимание лишь на слова, которая не проявляет сочувствия к союзникам России, потому что они крестьяне, и следует указаниям врагов, потому что они дворяне, священники и купцы. Правительство всячески старается подготовить немецкую аннексию балтийских губерний политикой подчинения немецкому меньшинству. В то же время единственно правильную политическую линию в этих краях не трудно найти. Россия должна сделать друзьями местное большинство латышей и эстов, должна защитить и действительно помочь им в аграрном вопросе, должна открыть дорогу православной пропаганде, где это возможно, честными средствами. Ненормальное положение губерний, управляемых в значительной степени на средневековой основе, предоставляет наиболее прочную почву для возрождения права и порядка. Россия только должна взять на себя задачу энергичной, бескорыстной и справедливой реформы»<sup>166</sup>.

Самарин прожил недостаточно долгую жизнь, чтобы завершить жестокую войну, которую он вел против германизма на Балтике. Он скончался после непродолжительной болезни в Берлине в 1875 году. Характерно, что его последняя работа вновь была посвящена религии. По просьбе немецких друзей, которых у него было много, он написал очень интересный очерк о теории религиозного развития Макса Мюллера<sup>167</sup>, которая его глубоко заинтересовала. Его главное возражение состояло в том, что основная идея религии трактовалась, как казалось ему, как абстракция, тогда как личный элемент, связь человека с личным Богом, является главным чувством, из которого проистекают все религии.

Это неслучайное выражение мнения – одно из *obiter dicta*<sup>168</sup>, подсказанных умному человеку его обширным чтением. Сама суть понимания Самариним жизни и политики как части жизни, проявляется в этом ревностном обращении к личному, справедливому и деятельному Богу. У человеческого стремления к свободе и справедливости нет основания, если Божественное Провидение не является источником свободы и справедливости. Почему соединение химических элементов должно стремиться к справедливости? – в этом заключалась суть известного письма к Герцену, лидеру радикалов-материалистов в России. Когда в дни его молодости он вел духовную борьбу с сомнениями, постоянно преследующими его рассудок, он с горечью признавался Константину Аксакову (1843): «Безделицу мы вычеркнули из нашей жизни: Провидение. И после этого может быть легко и спокойно на сердце?»<sup>169</sup>

Незадолго перед смертью (1872) он написал своему верному другу, баронессе Раден<sup>170</sup>, слова, которые объясняют, почему, вопреки образованию и культуре, он готов склонить свою гордую голову перед по-детски наивной верой крестьянина.

«Что за мистерия религиозная жизнь такого народа, как наш, неграмотный и предоставленный самому себе! Наши священники не учат; они просто совершают богослужение и выполняют обряды. Для неграмотного человека Евангелия не существует, и единственной связью, остающейся между церковью и верующими, являются обряды и несколько молитв, передаваемых от отца к сыну. И следует добавить, что народ даже не понимает языка церкви; даже «Отче наш» повторяется с такими пропусками и дополнениями, которые лишают ее смысла. И все же во всех этих темных душах существует где-то, как в Афинах, алтарь, посвященный неведомому Богу. Для них всех реальное присутствие Провидения является до такой степени бесспорным фактом, принимаемым как должное, что когда приходит смерть, люди, которым никто не говорил о Боге, распахивают ворота и приветствуют пришельца как знакомого и желанного гостя; „Они отдают Богудушу“ в буквальном смысле слова»<sup>171</sup>.

Теологические сочинения таких славянофилов, как А. Хомяков и Юрий Самарин, нелегко читать в наши дни; они устремлены более или менее сознательно к конфессиональной ортодоксии, и они полны диалектических упражнений. Но эти люди почитали Слово Вселенной не своими устами, но своими сердцами. Когда в пасхальную ночь они слушали первую главу Евангелия от Иоанна, мистическое послание «Слово было Бог»<sup>172</sup> имело для них реальное значение.

## Университетский вопрос и образование в России

### Учебное дело в наших университетах

Если что-либо должно быть бесспорным в России, так это истина, что путь к благосостоянию и могуществу открывает народам просвещение: чтобы действовать, надо знать и уметь. Для нашей новейшей истории необходимость нагнать в этом отношении западных соседей сделалась со времен Петра Великого руководящим заветом. Тем печальнее, что на этом безусловно указанном нам пути мы встречаемся не только с колоссальными препятствиями, воздвигаемыми громадностью пространства при малочисленности населения, скудостью материальных средств, отсталостью, но наталкиваемся, кроме того, на затруднения, созданные нами самими – невыясненностью наших образовательных программ, шаткостью мнений, неудовлетворительной организацией учреждений. Нельзя не признать национальным несчастьем, что до сих пор мы стоим перед «университетским вопросом»; что несмотря на пять попыток в течение ста лет определить постановку высшего образования в стране, несмотря на уставы 1804-го и 1835 годов, изменения 1849-го, уставы 1863-го и 1884 годов, опять становится необходимым пересмотр самих основ университетского быта. А между тем от функционирования университета как центрального просветительного органа зависит жизненность всех остальных частей воспитательной системы страны: все общеобразовательные и специальные школы, все высшее, среднее и низшее преподавание, все профессии, поскольку они основаны на знании и умении, более или менее получают свое направление и жизненные импульсы от университета. Тревожная постановка университетского вопроса для общества – все равно, что диагноз порока сердца для больного.

Длительные недуги и часто повторяющиеся кризисы обыкновенно объясняются не каким-либо одним злокозненным влиянием, а, как говорится, «целым рядом» условий. Нетрудно увидеть, даже при самом беглом обзоре, что в нашем государстве и в нашем обществе есть многие укоренившиеся свойства, которые вносят противоречия в жизнь университетов и затрудняют в России, более нежели где-либо, удовлетворительное разрешение университетского вопроса.

Наше правительство стяжало некогда свои лучшие лавры тою руководящей просветительной деятельностью, без которой не было бы современной России. Ясное сознание и твердая воля Петра, Екатерины<sup>173</sup>, Александра II и других самодержцев прокладывали новые пути обществу, даже когда оно не понимало своих истинных нужд. В умах государей и наиболее славных их сподвижников при этом никогда не возникало опасения, что они своей просветительной работой подкапывают почву под собственными ногами: они чувствовали свою силу и видели ясно, что их путь к величию лежит там же, где идет путь страны к свету и самостоятельности. Поэтому университеты как рассадники просвещения имели в государях своих основателей и главных покровителей и содействовали им в проведении всех крупных государственных начинаний XIX века. Но в том же правительстве, которое основало университеты и в широкой мере ими пользовалось, стало сказываться все сильнее и сильнее иное течение: недоверие к свободному духу университетского исследования и преподавания, опасение, что закваска, вносящая брожение мысли в умы народа, подорвет начала порядка и власти. С этой точки зрения – сближение с Западом представлялось не только прогрессом, но опасностью. Под влиянием борьбы этих направлений в наших государственных сферах отношение правительства к университетам, первоначально простое и благосклонное, стало изменяться. Получился ряд оттенков среди представляющих его государственных людей. Реже стали смелые ревни-

тели просвещения и свободной науки, строго разделявшие вопрос о власти от вопроса о влиянии подведомственных органов, уверенные в исторической силе русского правительства и не смущавшиеся проявлениями жизненности в находящихся под его руководством учреждениях. Чаще стали появляться люди подозрительные и пугливые, проявлявшие свою силу в неугомонном вмешательстве в жизнь подчиненных органов, тратившие время на надзор и опеку, одержимые постоянною боязнью, как бы не поступиться в чем-нибудь правами и достоинством. Наконец, встречаются и такие представители государственной власти, которые, как бы затерявшись в сложных задачах, поставленных временем, видят практичность и понимание жизни в смешении всевозможных систем, в переходах от одного направления к противоположному.

Подобные же разлагающие влияния приходится наблюдать в отношении общества к университетам. Было время, и не так еще давно, когда уважение к культурной роли университетов проникало во все образованное общество, когда сравнительно немногочисленная культурная среда смыкалась около университетов в своего рода масонстве, гордом своими особенностями и солидарностью. Но мало-помалу наступил раскол. Передовой класс общества стал дифференцироваться. Среди него появились увлекающиеся, непримиримые, для которых университетский строй казался слишком тесным, слишком правильно организованным, слишком связанным с отвлеченной наукой. В самой университетской молодежи, вследствие вполне естественных свойств возраста и темперамента, эти течения нашли известную почву для деятельности. При этом в пылу споров и столкновений для многих затемнялось первенствующее значение университета как организованной общественной силы, как проводника знаний и образованности, а временные интересы партий и рискованные соображения политической игры выдвигались на первый план.

Одним словом, и правительство, и общество, пришли в замешательство вследствие того усиленного бега вперед, который сделался для России исторической необходимостью: одни стали отставать и тормозить, другие – порываться вразброд, и от этого массового движения прежде всего пострадали университеты, судьба которых связана с движением вперед, но с движением организованным.

Если эти общие наблюдения верны, то правильное и прочное решение университетского вопроса должно совершиться в смысле развития его просветительных задач и самостоятельности, и в то же время – укрепления его внутренней организации. Только такой самостоятельный университет будет верным помощником правительства в его культурных предначертаниях и авторитетным руководителем общественного воспитания.

С целью показать, что рассмотрение частных условий университетского быта приводит к выводам, согласным с этой общей характеристикой, обратимся к разбору одной из важнейших сторон современной университетской жизни и постараемся выяснить ее главные недостатки и наиболее подходящие меры к их устранению.

При этом драгоценным средством для того чтобы составить себе правильное суждение, должна быть, наряду с наблюдениями над действительностью, проверка тех положений и доказательств, которые были положены в основу этой действительности как ее руководящее начало. Было бы наивно начинать рассуждения и споры всегда сначала, как будто они не велись в преемственной последовательности лет двадцать-тридцать назад, когда вырабатывался теперешний строй. В сопоставлении с выяснившимися теперь результатами тогдашние аргументы сторон получают новое и поучительное освещение. Для того чтобы восстановить эти положения и аргументы в их истинном значении, нельзя, конечно, обращаться к громким преувеличениям боевой прессы, необходимо черпать из официальных источников, из записок и соображений, определивших самый исход дела. Лишь таким способом можно установить связь между принципами и фактами и гарантировать основательность полученных из этого сопоставления выводов.

## I

У всех еще свежо в памяти возникновение господствующего ныне устава 1884 года. Он был прежде всего не педагогической, а политической мерою. Правда, ему предшествовало расследование состояния университетов, произведенное в 1875 году отделом Высочайше учрежденной комиссии под председательством статс-секретаря И.Д.Делянова<sup>174</sup>, объездившего все университеты и собравшего довольно объемистый материал<sup>175</sup>. Но, как указывалось в самой комиссии, материал этот представлял непроверенную массу самых разнородных показаний и документов. Наряду с интересными наблюдениями, в нем встречалось множество голословных обвинений, необоснованных впечатлений и тенденциозных преувеличений. Попытки установить главные, преобладающие факты с помощью критического разбора этого материала сделано не было, а из этой весьма богатой сокровищницы были извлечены кое-какие эффектные данные, чтобы их якобы документальным авторитетом подкрепить нарекания меньшинства комиссии, добивавшегося преобразования университетов. Присутствовавшие в комиссии ректоры университетов, с покойным С. М. Соловьевым во главе, единогласно протестовали против подобных приемов и основанной на них характеристики преподавания в университетах.

Действительно, огульное порицание университетского преподавания за «путаницу и несообразность» представлялось по меньшей мере неожиданным в применении к университетам, которым отдавали свои лучшие силы такие ученые, как С. М. Соловьев, Тихонравов<sup>176</sup>, Буслаев<sup>177</sup>, Срезневский<sup>178</sup>, Потебня<sup>179</sup>, Каченовский<sup>180</sup>, Таганцев<sup>181</sup>, Сергеевич<sup>182</sup>, Бутлеров<sup>183</sup>, Менделеев<sup>184</sup>, Столетов<sup>185</sup>, Боткин<sup>186</sup>, Захарьин<sup>187</sup> и т. д., и т. д. К нему, по-видимому, не были первоначально подготовлены и сами министры, проводившие реформу, потому что еще в 1874 году граф Толстой<sup>188</sup> во всеподданнейшем отчете высказал «взгляд вообще благоприятный для ученой деятельности университетов и для умственного и нравственного уровня слушателей университетских лекций». Что же касается статс-секретаря Делянова, то он открыл само заседание комиссии 1875 года<sup>189</sup> восхвалением университетов, на которые «лучшая часть нашего общества смотрит с некоторым почтением», так как с самим «словом „университет“ для их бывших воспитанников многое сливается и многое отзывается». И в течение совещания он не один раз возражал против преувеличения укоров по адресу принятой в университетах системы образования, которая «при всех толчках, ими неоднократно перенесенных, дала то, что мы видим и слышим». И тем не менее при обсуждении дела в Государственном совете<sup>190</sup> тем же статс-секретарем Деляновым, уже в качестве министра народного просвещения, была представлена характеристика университетского быта, по резкости не уступающая статьям «Московских ведомостей»<sup>191</sup>.

«С величайшим прискорбием, – говорил он, – должно заметить, что университеты наши за последнее время вовсе не находились на высоте своего призвания и далеко не служили государству в той мере, в какой должны были бы ему служить. Даже самим себе они не давали, ни по качеству, ни по количеству, тех ученых деятелей, которых должны были бы готовить и для себя, и для других высших учебных заведений... Та же несостоятельность была обнаружена университетами и в деле приготовления преподавателей для средних учебных заведений... Если от учебной сферы обратиться к судебной, то едва ли и здесь не оказалась та же несостоятельность наших университетов, если не в количественном, то в качественном отношении... Из сферы административной нельзя не привести нижеследующее свидетельство одного из высокопоставленных администраторов: умственный уровень лиц, поступающих из высших учебных заведений на службу, в настоящее время так низок, что безотлагательный подъем его становится делом первой государственной необходимости. Не говоря уже о том, что большин-

ство этих лиц не приносят с собой на службу никакого специального приготовления, редкостью является ныне способность изложить правильно и связно какую-нибудь вовсе незатейливую бумагу. Скучность нашей ученой и учебной литературы, за немногим исключением, крайняя неудовлетворительность всей нашей журналистики и периодической печати, главными деятелями которой являлись большею частью питомцы наших университетов, равно как и вообще низкий уровень и в большинстве превратность мнений нашей, так называемой, интеллигенции, – все это общеизвестные факты, которые нельзя не признать лишь дальнейшим доказательством несостоятельности наших университетов».

Так резюмировал в решительную минуту свое мнение об университетах министр народного просвещения, сам воспитанник Московского университета, свидетель и сотрудник реформ императора Александра II, юрист по специальному образованию, имевший все данные для того, чтобы оценить заслуги университетов, хотя бы в судебной области, хотя бы на необыкновенном превращении суда ляпкиных-тяпкиных в суд новых судебных уставов.

Не подлежит сомнению, что центр тяжести вышеприведенной характеристики лежит в ее конце – в возлагаемой на университеты ответственности за «низкий уровень и в большинстве превратность мнения нашей, так называемой, интеллигенции». Университеты явились козлом отпущения за грехи всей нашей интеллигенции, за прискорбные инциденты нашего духовного роста. Университетская наука и управление оказались виноваты в том, что в России появились радикальные взгляды и террористические кружки. В своей настойчивой кампании против всех видов общественной самодеятельности «Московские ведомости» и их последователи указывали на университеты как на главные очаги крамолы, требовали над ними деятельной административной опеки. Важно, что эти нарекания не только служили средством, чтобы запугать и запутать публику, но переходили в государственные учреждения, становились лозунгом для законодательных работ и глубоких преобразований.

Так, например, основание учреждения, своего рода парника, для приготовления желательных педагогов и юристов в Лейпциге и в Берлине мотивировалось необходимостью окружить воспитанников особой политической атмосферой, не свойственной русским университетам<sup>192</sup>. «Студенческая среда в лейпцигском университете настолько чужда тому духу нерадения, праздности, распушенности и оппозиции наставникам и правительству, который, по несчастью, так распространен в нашей студенческой среде, что она не только несочувственно, но и крайне враждебно относится к тем нигилистическим и социалистическим учениям, которым, к прискорбию, слишком нередко поддаются некоторые из наших студентов». Уже в особом совещании 1874 года под председательством статс-секретаря Валуева<sup>193</sup> была намечена необходимость борьбы против студенческого пролетариата. В 1880 году граф Д. А. Толстой так характеризовал этот класс, на который «направляются усилия пропаганды, среди которого вербуются новобранцы вредных учений. При скитальческом существовании, перебиваясь изо дня в день, студенты этого класса, предоставленные себе, находящиеся вне всякого нравственного надзора, живут Бог знает где, знакомы Бог знает с кем, нередко образуют гнезда недовольства и раздражения, откуда выходят явления, заботящие правительство и общество». В соображениях министерства народного просвещения, представленных Государственному совету в 1884 году при обсуждении нового устава, краски еще более сгущены: «При возможности без всякого правильного постоянного и серьезного учения достигать весьма существенных прав и преимуществ для государственной службы, среди полнейшей праздности, предоставленные самим себе, никем не направлявшиеся и не управлявшиеся, в борьбе нередко с крайнею материальною нуждою и при распространявшейся нередко и с кафедр, а чаще всего периодическою печатью склонности винить во всем общие условия нашей общественной и государственной жизни, многие из студентов наших университетов легко могли поддаваться всякого рода увлечениям и лжеучениям и становиться готовою добычею даже для крамольной пропаганды».

По-видимому, проступки и ложные мнения «некоторых» или даже «многих» не давали основания обращать взысканий против целых учреждений, целого ученого сословия. Казалось бы также, что против отдельных проступков имелись в распоряжении различные законные меры наказания и пресечения, а ложным мнениям и увлечениям молодежи следовало противопоставить нравственное влияние. Но ответственность за проступки и увлечения было возложена на самые университеты и виною всему выставлена их организация, антипатичное бюрократии коллегиальное самоуправление. «Корень зла, – по мнению министра, – заключается в том, что правительство совершенно устранило себя от учебного дела в университетах и предоставило его личному произволу профессоров, столь же произвольному усмотрению факультетских собраний и университетского совета и существовавшему лишь на бумаге наблюдению ректора и деканов, которые, как выборные от профессоров должностные лица, никоим образом не могли наблюдать над их деятельностью с каким-либо начальническим авторитетом. Вследствие такого самоустранения правительства от учебного дела университетов один произвол, профессорский, неминуемо должен был вызвать другой произвол, студенческий».

На счет университетской автономии были поставлены, с одной стороны, «отчуждение от власти», с другой – неряшливое и бестолковое ведение учебного дела, вследствие которого студенты будто бы сделались жертвами политической агитации. Отсюда получилась и руководящая точка зрения для задуманных министерством преобразований – она сводилась к бюрократизации университетов.

Если поэтому, по замечанию статс-секретаря Головнина<sup>194</sup>, реформа 1863 года исходила из доверия и уважения к профессорскому составу и из желания усилить его нравственное влияние на студентов, то реформа 1884 года принята как выражение недоверия к добросовестности и благонадежности профессорских коллегий. Большинство общего собрания Государственного совета указывало на это и обращало внимание на один неотразимый вывод из такой постановки дела: «Если такое обвинение было бы справедливо, то издавать новый устав для университетов, служащих местом противоправительственных стремлений, не следовало бы. С такими заведениями нужно бы распорядиться иначе: профессоров, оказывающих явное противодействие мероприятиям правительства, должно бы немедленно уволить от должностей, как несоответствующих ни своему назначению, ни условиям государственной службы, а самые университеты закрыть впредь до того времени, когда представилась бы возможность иметь ректорами и преподавателями лиц, отдающих свою деятельность в полное распоряжение правительства». Рассуждения, положенные в основу преобразования 1884 г., имели то неудобство, что при допущении их правильности доказывали слишком много, гораздо больше того, что предлагало министерство. Для того политического исцеления, которое имелось в виду, надо было не реформировать, а уничтожить университеты. На это не решились, вероятно, по педагогическим соображениям. Но в таком случае новый устав как мера политическая оказывался недостаточным или ненужным.

## II

Проведение подобных мер, заключающих в себе внутренние противоречия, имело ту хорошую сторону, что как бы ни были они тягостны и вредны, в соприкосновении с жизнью они неудержимо разлагаются. История устава 1884 года представляет поучительную иллюстрацию к этой истине. Прежде чем явилась надежда на его законодательную отмену, прежде чем была официально признана необходимость отнестись к нему критически, он разошелся по швам во всех своих частях, и это разложение для некоторых существенных его сторон началось чуть ли не со дня его вступления в силу.

Бюрократизация университетов представлялась настолько ненавистною мерою – трудно подобрать иное выражение, – что проводившие ее сочли необходимым снабдить свое преоб-

разование еще другим, более привлекательным элементом, и устав 1884 года явился под двумя флагами: правительственной опеки и академической свободы. Застрельщики движения обрушились с такой же усердной критикой в комиссии 1875 года на «крепостной быт наших студентов», как и на «путаницу» профессорского преподавания. «Втесняя всех и каждого в искусственные и произвольные рамки, факультеты препятствуют естественному ходу их научного образования и развития дарований и одним дают черезчур много, а другим черезчур мало, и не то, что каждому нужно. Нельзя всех и каждого в ту пору, когда должны быть приобретаемы основы для высшего образования, заставлять идти одним и тем же путем и усваивать себе одни и те же предметы. Одни по свойствам своей натуры могут наиболее преуспеть, сосредотачивая силы сначала на одной группе предметов, потом на другой; другие же, напротив, находят отдохновение, изучая одновременно несколько разнородных предметов... При несомненной даровитости русского народа не системе ли нашего университетского крепостного быта мы обязаны тем, что до сих пор не приобрели достаточной самостоятельности в деле науки?» По поводу свободной записи на профессорские курсы и соединенного с ней гонорарного вознаграждения высказывались самые смелые надежды. «Плата за учение в виде гонорара сразу установит нравственные и вполне добросовестные отношения между ними на почве науки. Студенты, записываясь на лекции профессора и при этом взнося причитающиеся именно за эти лекции деньги, тем самым будут заявлять свою надежду наилучше у него научиться; профессор же, естественно, будет прилагать все усилия сколь можно полнее оправдать возложенные на него надежды» (Мнение меньшинства в общем собрании Государственного совета). К этому благодарному оптимизму примешивались, однако, замечания, показывавшие, что умысел иной тут был. Для сторонников свободы слушания она неразрывно соединялась с представлением о поставленных правительством экзаменационных требованиях. «Дабы побудить профессора с оными сообразоваться, нет иного средства, кроме предоставления студентам свободы учения. Преподаватели принуждены будут сообразоваться с потребностями слушателей, соответствующими экзаменационными требованиями». Самую беспощадную критику этих положений представил И. Д. Делянов. Он указывал в комиссии 1875 года, что так как студентам не будет выбора между преподавателями, то свобода выбора останется номинальной; так как придется установить обязательные учебные планы факультетов, то свобода слушателя останется пустым словом. Он шел дальше и раскрывал непримиримое противоречие во взглядах сторонников реформы. «Как согласить предложение об удивительном умственном и нравственном превращении (ввиду предполагавшейся свободы слушания) с требованиями усиления власти и надзора за столь зрелыми людьми? Казалось, что одно из двух: или одни платонические советы без инспекции, посещения квартир, педелей и т. д., или вся эта нравственная инспекционная обстановка с некоторой понудительной силою в распоряжении учения». Такие здравые суждения не помешали этому государственному человеку в 1884 году проводить те самые начала, вывесочный характер которых он так прекрасно понимал. В представлении в Государственный совет свобода преподавания и учения фигурировала на видном месте рядом с усилением правительственного влияния. Свобода преподавания, допущенная в Германии, заключается в том: «1) что каждому профессору предоставлено вести преподавание по своей части вполне самостоятельно, без предписанной программы, в том объеме и по тому методу, которые указывают ему собственные его научные убеждения; 2) что чтение лекций по известной науке не составляет монополии лица, занимающего соответствующую кафедру, а может быть предпринимается и другими преподавателями; и 3) что профессора не имеют обязательных слушателей, приписанных к их курсам и ими из прочитанного экзаменуемых». Известно, насколько были осуществлены эти широкие принципы в наших университетах при действии устава 1884 года. Все указания большинства членов комиссии 1875 года и затем большинства членов Государственного совета, возражавших против введения предложенных мер, оправдались. В действительности «крепостной быт» студентов стал лишь более тягостным и принял определенную

форму оброчных отношений. Под влиянием частью условий, которых нельзя было устранить, но следовало предусмотреть – немногочисленности преподавательских сил и скудости преподавательского вознаграждения, – частью вследствие опеки, установленной министерством и факультетами, сохранились и развились и монополия преподавателей, и прикрепление слушателей к обязательным курсам, и испытания из прочитанного, да в довершение картины прибавилась оброчная повинность слушателей в пользу профессоров – так называемый гонорар. Едва ли противники устава 1884 года сумели бы сами придумать более злую карикатуру на неискренность и внутренние противоречия этого устава, нежели оброк, установленный его составителями во имя свободы преподавания и сближения между профессорами и студентами.

Новый устав ставил себе одною из главных целей подчинить преподавание деятельному и постоянному контролю правительства. Наиболее подходящим для этого средством признаны были экзамены. Мысль естественная: ни департаментские чиновники, ни попечители и их помощники не могут с удобством и приличием следить за лекциями и семинарами профессоров, но представилось заманчивым раз в год ставить результаты профессорского преподавания на суд назначенных со стороны экзаменаторов, обязанных одинаково критически отнестись и к окончившим курс, и к их учителям. Поэтому экзаменная реформа была поставлена как бы во главе угла новой системы. Статс-секретарь И. Д. Делянов ссылаясь для характеристики ее значения на слова французского педагога Биго: «Aussi n' y a-t-il de reforme serieuse pedagogique que celle qui porte d' abord sur la reforme des examens; vous n' aurez rien fait, tant que vous vous serez borne a reformer l' enseignement lui meme»<sup>195</sup>.

Меньшинство Государственного совета, сочувствовавшее планам гр. Толстого и И. Д. Делянова, так изображало будущие испытательные комиссии. «Состав комиссий, начиная с председателей до последнего из членов, вполне зависел бы от правительства. В противоположность уставу 1863 года, который все дело наблюдения за занятиями студентов изъясил из рук правительства и отдал на волю университетских коллегий, новый устав передавал бы это дело, от его начала до конца, в руки правительства, предоставляя ему самому вначале устанавливать испытательные требования и в конце удостовериться через посредство им самим учреждаемых комиссий в усвоении студентами знаний, необходимых для удовлетворения означенным требованиям». На этих соображениях была построена система испытаний окончательных, так называемых полукурсовых и зачетов полугодий. В течение 17-летнего действия устава все части этой системы подверглись перерождению и вырождению. Полугодия стали сливаться в года, зачеты обратились большею частью в стеснительную формальность, полукурсовые испытания преобразовались постепенно в курсовые переходные экзамены, и министерство само санкционировало эти изменения. Государственные экзаменационные комиссии превратились сразу в факультетские с депутатом от министерства в лице председателя, со случайным и несправедливым разделением на членов комиссии профессоров и приглашаемых экзаменаторов и, что хуже всего, с неподходящими программными требованиями и стеснительными правилами. Об этом еще будет речь впереди. Теперь предстояло лишь отметить, как мало соответствовали действительная форма предначертаниям составителей устава.

Кроме экзаменов, вмешательство министерства в руководство преподаванием должно было выражаться в просмотре учебных планов и обзоров преподавания. В первое время это надзор «центральных учреждений» за деятельностью «местных» ученых подавал повод к многочисленным инцидентам. Профессорам, пользующимся всероссийской, а иногда и европейской известностью, приходилось выслушивать не только внушительные наставления по предмету преподаваемых ими наук, но иной раз даже строгие замечания, вроде того, что такой-то предмет особенно слабо поставлен в таком-то университете. Но мало-помалу рвение в этом смысле улеглось, и дело приняло обычный вид общения – исходящими и входящими бумагами... Грознее представлялись попытки определить содержание преподавания распоряжениями относительно учебных планов и требованиями экзаменационных программ. Любопытный

пример представлял распорядок занятий и подразделений, установленный для историко-филологического факультета, составлявшего предмет особых забот тех сотрудников университетской реформы, которые видели в ней продолжение гимназической. Напомнить о созданной ими недолговечной классической школе без классического отделения, с урезанным курсом по «дополнительным» предметам по истории и словесности, без общих курсов философии и истории новой философии, которая была достойным образом оценена на страницах «Вестника Европы»<sup>196</sup> при самом ее появлении. Ей суждено было просуществовать только пять лет: против нее восстали самые испытанные по своей благонамеренности профессора, и она уступила место выработанному при старом уставе порядку распределения занятий на общих курсах и специальных отделениях. Менее счастливым оказался юридический факультет: на нем до сих пор держится распорядок кафедр и распределение занятий, намеченные с начала введения устава и рекомендованные педагогическому миру знаменитым введением к программам для юридических испытательных комиссий, достопримечательность по своему циническому отношению к науке (Ср. статью «Старого профессора» в «Русской мысли» за декабрь 1899 года)<sup>197</sup>. Зато именно по поводу этого факультета и раздаются наиболее громкие жалобы, и притом не только в обществе, но и в правительственных сферах.

В общем, как раз в той своей части, которая, по заявлению реформаторов 1884 года, вызывалась непосредственными практическими потребностями и вопиющими недостатками университетского строя, новый устав потерпел полное крушение без всякой формальной отмены в эпоху бесспорного господства проводившей его партии и беспрекословного исполнения его распоряжений. Остались в силе его бюрократическая и дисциплинарная стороны, и неустройство их дает себя чувствовать главным образом в студенческих беспорядках, против которых принято бороться. Но эти беспорядки все-таки беспокоят: они играют приблизительно ту роль в педагогическом мире, которую железнодорожные катастрофы играют в министерстве путей сообщения: они разрушают официальную фикцию, что все обстоит благополучно. Так или иначе, теперь и общество, и правительство призваны обсуждать устав 1884 года во всех его частях. При этом обсуждении нельзя не иметь в виду некоторых предварительных вопросов: какую цену имеет организация, которая не выдержала пробы в руках своих инициаторов по тем задачам, которые признавались главными, практически существенными? Какого отношения заслуживают обломки этой подвергающейся саморазложению системы и попытки подновить и распространить испробованные ею средства?

### III

Посмотрим, как поставлено в действительности при уставе 1884 года учебное дело, ради которого существуют университеты. При выработке устава указывалось с ударением на неудовлетворительность студенческих занятий на то, что большинство студентов на лекции не ходит, наукою не интересуется, а готовится кое-как по жалким литографированным запискам к экзаменам, рассчитывая на снисходительность профессоров и удачу в лотерее избрания билетов. И. Д. Делянов с обычной прозорливостью отметил во время домашнего обсуждения этого дела в комиссии 1875 года значительные преувеличения такой характеристики, указав, что она мало применима к медицинскому и математическому факультетам, на которых студенты работают систематически и усердно, и особенно применима лишь к юридическому. Замечания эти следовало бы особенно держать в памяти в настоящее время, когда сплошь и рядом порицания, относящиеся к студентам юридического факультета, применяются ко всему университету. Как бы то ни было, в официальных представлениях и заявлениях по делу преобразования министерство всецело поддерживало вышеупомянутую отрицательную характеристику. Беда в том, что преобразование 1884 года, основанное на изменении экзаменов и экзаменационных программ, нисколько не устранило отмеченных недостатков. Праздных студентов, пробиваю-

щихся через университет при помощи разных военных хитростей, теперь не меньше, а скорее больше, чем при порядке 1863 года, а это доказывает, что меры против зла были приняты неподходящие.

В настоящее время учебные занятия в университетах складываются, помимо прямого действия профессоров на слушателей, в зависимости от трех факторов: давления министерства, забот факультетов и отношения студентов. Министерство обеспечило себе значительное участие в распорядке занятий установлением программ и организацией экзаменационных комиссий. Факультеты заботятся о полноте и последовательности преподавания и с этой целью устанавливают обязательные учебные планы; студенты реагируют на все эти постановления и приспособляют их так или иначе к своим потребностям. Можно сказать, что если министерству не удалось провести того плана полного заведывания учебным делом через посредство экзаменных комиссий, о котором мечтали инициаторы устава 1884 года, если ему пришлось в значительной степени сделать уступки местным особенностям и самостоятельности факультетов, то, с другой стороны, и факультеты никогда не в состоянии действительно овладеть ходом учебных занятий студентов при помощи учебных планов и обязательных указаний: студенты обезвреживают возложенные на них тяжелые требования, освобождая себя фактически от посещения значительной части указанных им занятий. В пределах обширных обязательных планов они по разным соображениям выкрикивают себе свои собственные учебные планы и выдерживают или не выдерживают их, смотря по интересам и характеру. Слишком часто выдерживают плохо, но, помимо лени, в данном случае несомненно сказывается ненормальность порядка, вытекающего из нагромождения неисполнительных требований и просеивания этих требований самую «жизнью». Неуважение к распоряжениям сверху и фикции всякого рода играют при этом слишком большую роль. Своеобразное взаимодействие между действиями властей и действиями студентов заслуживает внимательной оценки.

Начнем с централизирующего влияния министерства. Руководящая мысль составителей устава 1884 года в этом отношении заключается в том, что министерство, которое ограничивается проведением общих правил, надзором, случайными ревизиями и вмешательством по отдельным случаям, устраняется от главного заведывания учебным делом. Чтобы осуществлять это заведывание, оно должно вмешаться в научную область и «властно» установить цели, объем и характер окончательных требований к различным научным предметам, а затем проводить эти требования, отделив окончательные экзамены от текущего преподавания и поручив их не факультетским, а особым «государственным» комиссиям. Главные черты плана были резюмированы в Государственном совете следующим образом:

«Мера, предложенная министерством народного просвещения, изобретает сообразное природе злоцеление, а именно:

1) Она предполагает установление от имени правительства общих для всех университетов и вполне определенных экзаменационных требований, для удовлетворения коим студент должен ознакомиться с главными основаниями изучаемой им науки в ее целостности. Требования сии, публикуемые во всеобщее известие, студент знал бы еще прежде своего вступления в университет и вследствие того с первого дня своей университетской жизни имел бы перед своими глазами весь объем предстоящего ему труда. В этих экзаменационных требованиях содержался бы крайний предел того, что правительство признает за благо требовать от лица, ищущего сопряженность с университетским образованием преимуществ, и за приобретением им этого низшего предела знаний установлено было бы обязательное и ответственное наблюдение факультетов, которое, в свою очередь, стояло бы в этом отношении под постоянным наблюдением попечителя округа и министра народного просвещения.

2) Коль скоро правительство определило бы само, чему студенты должны выучиться во время пребывания своего в университете, и через назначаемые им испытания комиссии ежегодно проверяло бы результаты всего их учения, этим самым оно и профессорам поставило

бы в необходимость заняться как следует обучением молодых людей и устранило бы все те неправильности, коими страдало у нас при действии устава 1863 года университетское преподавание.

При этом изменились бы и столь неудовлетворительные взаимные отношения между профессорами и студентами. Перестав быть решителем судьбы студента, профессор обратился бы в доброжелательного руководителя студента на пути к его цели; со своей стороны, студент, чувствуя постоянную в профессоре нужду, естественно, стал бы дорожить указаниями и лекциями, которые при прежнем порядке столь неисправно посещались и никем не записывались, за исключением одного или двоих, принявших на себя их составление и литографирование для распространения потом между товарищами.

3) Испытания производились бы не из случайно избранных отрывков науки, а из целого объема в главных и крупных линиях предмета, обозначенных в экзаменационных требованиях».

Самые веские возражения были, по обыкновению, представлены лицом, которое взяло на себя главную ответственность за проведение нового устава. И.Д.Делянов заметил между прочим, что девять десятых студентов ищут в университете единственно достижения практических целей, и их еще более «духовно иссушат» заранее известные экзаменные требования. «Хотя он и разделяет мнение о необходимости определенных экзаменных требований, но не может скрыть от своей совести, что эта наперед, еще на гимназической скамье, известность всего, что потребует на университетском выпускном экзамене, в наш век акций и облигаций будет со своей стороны способствовать уменьшению идеальных стремлений в науке и жизни». Большинство членов комиссии 1875 года, с С. М. Соловьевым и Кремлевым<sup>198</sup> во главе, указывало на другие недостатки указанной системы, которые действительно и обнаружили со всю силою при введении ее в действие. Основные точки зрения были при этом выражены с такой силою и достоинством, что и теперь, при пересмотре вопроса, нельзя не возвратиться к этим доводам.

Большинство восходило в своем суждении к назначению университетов в отличие их от специальных школ. «В университетское преподавание необходимо и существенно входит дух научного исследования, – оно неразрывно связано с самой разработкой науки, чего нет в школьном преподавании, которое направляется лишь к сообщению знания, к решительной цели. Рассуждают так: для государственной службы нужны учителя, юристы, медики – приготовление молодых людей для этих профессий составляет задачу университета как учреждения государственного, следовательно, университетское преподавание и экзамены должны быть приурочены к этой цели. Отсюда вывод, что на экзаменах должно требовать только таких знаний, какие нужны для начинающего государственную службу по той или другой отрасли ее, а университетское преподавание должно быть приурочено к этим экзаменным требованиям, значит, со степени научного должно быть сведено на степень профессионального преподавания, механической выучки для определенной, утилитарной цели. И это, говорят, должно совершаться во имя прогресса, это низведение университетского преподавания с его высоты, это освобождение университета от науки, от обязательной для них, а не дозволенной только службы науке, именуется отменой крепостного быта университета».

Образование особых «государственных» комиссий для производства окончательных испытаний заключало в себе унижение университета еще и в другом смысле. Соловьев и его товарищи рассеяли поверхностное сближение с германским порядком, при помощи которого сторонники нового устава старались прикрыть свои начинания авторитетом высокой немецкой культуры. Они доказали, что комиссионные экзамены не будут штатс-экзаменами ни в немецком смысле – так как в Германии существует свобода преподавания и с прохождением университетского курса не связаны никакие экзамены, – ни в том ограниченном смысле, в каком практикуются у нас испытания при поступлении на службу например, на службу дипломатическую.

«Штатс-экзамены не унижают университета, ибо штатс-экзамен есть экзамен на должность... Испытуемому говорят: вы, может быть, знаете очень много, но мы желаем увериться, знаете ли вы именно то, что нам нужно. Но совершенно отдельная комиссия, без значения штатс-экзамена, а прямо для испытания кончившего курс в университете, прямо, следовательно, для проверки его познаний, здесь приобретенных, уничтожает университет, отнимает у него право, которого не отнимают ни у какой казенной школы». Действительность в некотором смысле даже превзошла опасения, так как в 1875 году еще предполагали, что комиссионные экзамены будут введены действительно в связи со свободой слушания, что придавало бы им известный смысл, с точки зрения ограждения государства от дурных последствий произвольных комбинаций, подсказанных интересами отдельных слушателей. Но на деле получилось совершенно своеобразное соединение обязательного слушания с отделенным от преподавания экзаменом. При этом истинный смысл меры – выражение недоверия преподавателям, хотя бы под условием унижения университета – раскрывался ясно. Но в таком случае оставалось заметить вместе с большинством Государственного совета: «Нельзя не обратить внимание на ту необъяснимую двойственность воззрений, которую обнаружило бы правительство, оказывая профессору величайшее доверие разрешением самостоятельно преподавать науку целым поколениям и тем самым влиять на умственное их развитие, и в то же время не доверяя ему экзаменовывать, т. е. контролировать результат своего преподавания».

Двенадцатилетняя практика государственных комиссий вполне оправдала все указанные опасения и, кроме того, раскрыла недостатки, которые при обсуждении нового устава не предусматривались или предусматривались не в достаточной степени. Было бы достаточно говорено о том, что по целому ряду пунктов предполагаемую систему не удалось осуществить, так что ныне действующий порядок представляет не обдуманное и законченное целое, а неорганический компромисс. Но в других отношениях система комиссионных испытаний, несомненно, оказывает влияние на занятия, едва ли только благоприятное. Влияние это сводится главным образом к следующим условиям:

- 1) выработанные министерством однообразные программы обезличивают преподавание;
- 2) стремление вместить в программу предмет в полном его объеме влияет на выработку элементарных и поверхностных курсов;
- 3) накопление материала на окончательных испытаниях обращает их в пробу памяти;
- 4) отделение экзаменационной процедуры от текущего преподавания усиливает все неизбежные неудобства экзаменационной оценки познаний и умений и уменьшает значение реальной подготовки;
- 5) исключительная важность комиссионных экзаменов для приобретения прав расстраивает ход учебных занятий высших курсов, сосредотачивая внимание студентов на приготовлении к приближающемуся искусству

Каждое из этих наблюдений требует несколько более обстоятельного обсуждения.

В истории выработки устава одною из самых поразительных черт является невозмутимость, с которой его виновники одновременно ратовали *против* принудительной школьной системы наших университетских занятий и *за* принудительное однообразие программ окончательного испытания, которые должны дать тон всему преподаванию. Каким-то фокусом разнообразие и свобода обращались в принудительность и шаблон; то, что считалось вредным, когда исходило от факультетов и университетов, становилось панацеей, когда исходило от министерства и его ученого комитета. При этом не принималось во внимание ни разнородность местных условий и сил, ни личные взгляды преподавателей, ни движение наук, ни трудность формулировать в короткой программе научные требования, ни странность роли профессора, которую принимало на себя министерство. Тяготение бюрократии к централизации было слишком велико, и русская университетская наука получила определенные указания из подлежащих канцелярий.

По вопросу о необходимости требовать на окончательных экзаменах знания предметов «в их полном объеме» как-то мало было разногласий между защитниками нового устава и противниками его. Между тем представление, что можно и следует стремиться к изложению наук в полном объеме, отзывается некоторою наивностью. Дело, очевидно, сведется на практике к весьма поверхностным обзорам, так как для научной постановки таких курсов потребовалось бы время, которым ни один преподаватель не располагает, и способности усвоения, которыми не располагает ни один студент. Всеобъемлющие требования программ приводили поэтому в действительности к различным более или менее нежелательным исходам. Одни профессора стремятся к рекомендованной энциклопедичности и разжижают для этой цели свои курсы до такой степени, что они теряют университетский характер. Другие сосредоточивают чтения на известных отделах, избранных по степени их важности или типичности, опуская остальные, или касаются их лишь слегка; в таком случае приходится устраивать разные фикции на окончательном экзамене. Третьи, наконец, предоставляют студентам приготовляться не по курсам, а по сокращенным учебникам, и в этом случае окончательный экзамен не имеет никакого значения «окончателности», а лишь отвлекает от университетских занятий. Помимо всего сказанного, возникает вопрос, тесно связанный с уже рассмотренным первым: какое есть разумное основание понуждать всех и каждого профессора читать общие и даже всеобъемлющие курсы, когда многие вполне достойные профессора ни по взглядам, ни по способностям не считают эти курсы для себя подходящими? Как смотреть, например, с точки зрения положений, получивших официальное признание, на курсы покойного знатока византийской истории в России, который всегда и по принципу читал так называемые специальные курсы?<sup>111</sup><sup>199</sup> Повторяю, известное смягчение требований было внесено жизнью, но зачем ставить требования, которые придется обходить?

Особенно вопиющим злом современных окончательных испытаний является подавляющая масса материала, по которому предстоит дать отчет перед экзаменаторами. Правила составлялись с видимою боязнью пропустить хоть какую-нибудь часть важнейших предметов, как будто таким пропуском будет определено, что испытуемый никогда к соответствующей части науки не обратится, или что она получит в университете нежелательную, с точки зрения правительства, постановку. В результате это *окончательный* экзамен, это испытание взрослых людей в усвоении ими высшего образования обращается в самую ребяческую передачу затверженных уроков, в пробу памяти и нервов, несказанно мучительную для экзаменующихся, но тяжелую и для экзаменаторов. Как оценивать подобные познания? Как определить уровень физических требований, которые могут быть предъявлены различным пациентам? Во всех этих отношениях окончательное испытание в государственной комиссии поставлено несравненно хуже, чем были поставлены те действительно довольно жалкие курсовые экзамены, над которыми иронизировали составители нового устава, как над испытаниями памяти, как над проверкой затверженных чужих слов.

Основное начало современных окончательных испытаний – отделение их от текущего преподавания – не выдерживает критики с педагогической точки зрения и порождает множество затруднений. Уже в комиссии 1875 года была установлена большинством правильная точка зрения на этот предмет. «Высшая правительственная комиссия 1874 года под председательством статс-секретаря Валуева, обсуждая недостатки организации учебных заведений, в пункте 1-м своих соображений указывает на необходимость упрочить органическую связь между учащими и учащимися; в пункте 5-м в ряду способов влияния преподавателей на учащихся – ставить оценку преподавателями умственного развития учащихся; в пунктах 6-м и 7-м не одобряет стремления учащихся к утилитарным целям, когда работы учащихся направлены не столько к самостоятельным научным занятиям, сколько к выдержанию экзамена для прак-

<sup>111</sup> См. статью И. М. Гревса о В. Г. Васильевском в «Журнале министерства народного просвещения» за 1899 г.

тических целей, так что экзамен становился для учащихся вопросом первой важности». Между тем как раз в комиссии Валуева гр. Д. А. Толстой провел положение о необходимости отделения окончательных испытаний от текущего преподавания. Это отделение совершилось, как мы знаем, не вполне, потому что экзаменуют все-таки профессора и экзаменуют в значительной степени по своим курсам, но оно совершилось в том смысле, что обзор элементарных сведений по предметам выдвинулся, безусловно, на первый план и своей количественной тяжестью задавил все остальное, всю самостоятельную работу, которую ведут студенты в университете. Единственный сколько-нибудь реальный остаток этой работы, подлежащий оценке комиссии, это сочинение. Затем все идут ответы устные и письменные – ответы по затверженному материалу. Какое понятие может дать такое испытание навыков к работе, знакомства с методами и умения пользоваться ими?! А между тем самостоятельное чтение и исполнение практических работ признавались существенными средствами обучения самими инициаторами новых экзаменных порядков, вводились в курсы университетов задолго до преобразования 1884 года, и с каждым годом развиваются в университетской практике. Когда же дело доходит до окончательного испытания, все это приходится отбросить по «однородной» программе. Сторонний председатель комиссии не имеет понятия об этих самостоятельных занятиях и не имеет времени в четыре-пять недель пересмотреть и оценить рефераты и семинарские работы, если таковые представлены. Члены комиссии, надо надеяться, имели время и возможность познакомиться с испытуемыми и сблизиться с ними, но оценку свою они принуждены давать на основании совершенно других данных, которые далеко не всегда приводят к одинаковым результатам с указаниями, подчеркнутыми из близкого будничного знакомства с студентами. Всякий профессор из своей практики приведет множество случаев, когда лучшие студенты оказываются мало способными держать окончательные испытания с их калейдоскопом ответов по самым различным частям университетского курса. Бывает и обратно: беспристрастный член экзаменационной комиссии скрепя сердце принужден писать: «весьма удовлетворительно» и присуждать диплом первой степени молодым людям, про которых, как профессор, отлично знает, что они ничем толком не занимались и не интересовались, а «приналегли» к экзамену и с успехом отрапортовали по билетам «однородной программы». Оговорки экзаменных требований относительно оценки специальных работ студентов не вносят действительной поправки в это зло, потому что специальные или, лучше сказать, самостоятельные занятия нельзя оценивать в полчаса и у экзаменного стола: цена им обнаруживается в аудиториях и лабораториях в течение самого хода занятий. Итак, отделение окончательного испытания от текущего преподавания осуждает себя по самой своей постановке и во всяком случае стоит в полном противоречии с желанием поднять интенсивность и значение самостоятельных занятий студентов.

Защищая план государственных экзаменационных комиссий, меньшинство Государственного совета, между прочим, ставило в упрек существовавшим по уставу 1863 года переходным испытаниям значительную потерю времени. «На такого рода испытания университеты тратили полтора и два месяца драгоценного времени, которое отнималось у преподавания. Особенно страдало от этого второе полугодие, которое сокращалось при таких порядках до трех месяцев, не говоря уже о том, что с приближением времени испытаний студенты переставали посещать лекции и принимались за изучение готовых литографических записок». *Mutato nomine, de te fabula narratur*<sup>200</sup>: можно подумать, что дело идет именно о теперешнем порядке.

Трудно даже приблизительно подсчитать количество времени, которое непроизводительно отнимается у преподавания в настоящее время. Переходные экзамены восстановлены в прежней силе и с прежними вычетами из курса, за единственным исключением третьего года, а грозная тень окончательных испытаний падает на весь четвертый год и мешает занятиям в то время, когда они могли быть особенно производительны.

Обратимся теперь к деятельности факультетов. Проводя новый устав, министерство призвало их к особенному контролю за полнотою и последовательностью преподавания, и, бла-

годаря этому контролю, под покровом официальных требований и отделенных комиссий в значительной степени сохранилась система обязательных учебных планов, которую в пух и прах разносили ревизоры 1875 года. Студентам по-прежнему указывается в подробностях, какими предметами они должны заниматься, каких профессоров слушать; для проверки этих занятий существуют экзамены и зачеты; переход с одного семестра на другой, с одного курса на другой совершается в силу действительных или номинальных испытаний и разрешений факультета. Одним словом, студенты поставлены по отношению к своим занятиям под полную опеку факультетов. Не будем пока высказываться о принципиальной пользе или принципиальном вреде системы. Укажем только на ее очевидные недостатки и преувеличения. Не подлежит сомнению, что наши факультеты применяют ее с избытком рвения. При выработке учебных планов они впадают постоянно в одни и те же ошибки, неизменное повторение которых доказывает, что они вытекают из положения. Факультетские планы всегда имеют характер указаний к обширным энциклопедиям по тому или другому разряду наук. Все важнейшие предметы представлены хоть понемногу – все ведь имеют научную важность, между всеми есть внутренняя связь. Факультетские заседания для определения распорядка занятий носят своеобразный характер – точно собираются в дальний путь и набивают чемоданы всем, что когда-нибудь при каком-нибудь случае может понадобиться. Молодому словеснику, конечно, надо слушать историю, русскую и всеобщую, и историю литературы, русской и всеобщей. Но для студента-филолога обязательно значительное знакомство с древними языками. Пусть же он занимается древними языками. Необходимо серьезное философское образование – назначить им столько-то часов философии и истории философии. В методологическом отношении важно всем познакомиться с самой научной из наук этого разряда – с сравнительным языкознанием. Но неприлично было бы русскому филологу оставаться незнакомым с славянским миром: пусть послушает славянскую грамматику и славяноведение... Кроме естественной защиты каждым профессором прав своего предмета, играют роль и другие соображения. Какой-нибудь почтенный, заслуженный профессор хорошо помнит, какое благодетельное влияние на его развитие имели занятия тем или другим из родственных предметов, посещение лекций того или другого знаменитого в истории русских университетов преподавателя. Это будет веским аргументом для того, чтобы включить соответствующую науку в число обязательных. И в результате получится учебный план, какой дай бог одолеть лет в восемь, если равномерно и добросовестно следовать всем его указаниям. Все в нем предусмотрено, кроме того, что голова студента имеет пределы вместимости. Объективные, всесторонние связи между науками не дают еще прав каждому отдельному субъекту рекомендовать изучение всех наук, между которыми есть связи. И следовало бы начинать с обратного положения, что в обширных рамках четырех факультетов возможны и необходимы многочисленные комбинации предметов, соразмеренные с интересами и силами учащихся. Существование отделений на некоторых факультетах вызвано этой потребностью, но уступки, которые делаются в данном случае требованиям разделения труда, весьма недостаточны. Факультеты в своей сфере, так же, как и министерство с программами окончательных испытаний, противоречат известному требованию: *non multa, sed multum*<sup>201</sup>. Об одном результате, однако, постоянно говорят и на факультетах, и в министерстве, и в обществе, но говорят как о факте самостоятельном, не имеющем никакой прямой связи с формами министерской и факультетской опеки: это о нехождении студентов на лекции. Явление это объясняется обыкновенно студенческой ленью, но помимо нее и помимо недостатков отдельных курсов, которые отгоняют от них слушателей, оказывается своего рода реакция самосохранения со стороны студентов на факультетские требования. Едва ли будет ошибкой сказать, что ни один отличный студент не следует вполне факультетскому плану. Все держат экзамены, но каждый выполняет, насколько возможно, свой собственный план, не имея в виду выражать этим неуважение к профессорам и предметам, которых он не слушает, а для того, чтобы сосредоточить свои занятия на том, что ему под силу и по склонности.

## IV

Выяснив по мере возможности недостатки действующей в силу устава 1884 года системы, мы можем сознательно отнестись к мерам, предлагаемым для ее исправления. Представляются, по-видимому, три возможных выхода из затруднений: ввести действительную, а не номинальную свободу слушания; ввести действительную, а не фактическую систему школьного принуждения; улучшить исторически сложившуюся в русских университетах систему факультетского руководства.

Против заманчивой мысли реорганизовать университеты по немецкому образцу, на начале полной свободы преподавания – говорит многое. В комиссии 1875 г. и в Государственном совете в 1884 г. ее безусловно осуждали защитники университетской автономии.

Указывалось на то, что мы не готовы для реорганизации ни по составу преподавателей, ни по составу слушателей. Для того, чтобы действительно провести свободный выбор между преподавателями, необходимо иметь возможность, по крайней мере, дублировать преподавание всех важнейших предметов. Располагаем ли мы таким запасом ученых, хотя бы даже между приват-доцентами, не говоря уже о профессорах, чтобы устроить между ними действительную конкуренцию? В Германии конкуренция эта существует не только в пределах каждого отдельного университета, но и между самыми университетами. Если в каком-нибудь Вюрцбурге или Ростоке нет средств, чтобы дать слушателям хороших руководителей по всем специальностям, то слушатели, не получающие удостоверения своим потребностям, уйдут в Мюнхен или Геттинген. Слава Германии – в том, что и Вюрцбург имел Либиха и Ренгена<sup>202</sup>. У нас конкуренция еще в таком жалком, зачаточном состоянии, что применяется даже удивительный порядок прикрепления к округам, и введен этот порядок министерством, поддерживавшим устав 1884 года, при составлении которого столько было толков о свободной конкуренции.

По поводу неподготовленности наших студентов к проведению полной свободы слушания защитники устава 1863 года высказывались очень энергично. «Как показывает практика Киевского университета, где в прежнее время отчасти практиковалась свобода слушания, студенты наши склонны проводить первые годы без всяких систематических занятий, а под конец делаются усилия наверстывать потерянное время выслушиванием громадного числа лекций... Свобода слушания при нравах нашей учащейся молодежи способна повести лишь к полной дезорганизации и без того слабых сил и средств большинства наших университетов».

И. Д. Десянов, не сочувствовавший свободе слушания, хотя и пользовавшийся ее призраком в своих официальных заявлениях, указывал на любопытное психологическое объяснение несовместимых со свободой свойств наших студентов. На первом месте он ставил «лень, врожденную человеку, и в особенности молодому, вышедшему из-под гимназической или семинарской ферулы». Нет надобности возводить лень или склонность разбрасываться в народно-психологические черты русских студентов. Немало могут рассказывать о тех же свойствах знатоки немецкой университетской молодежи: там тоже большинство студентов тратит первые семестры довольно бесполезно, а многие специализируются в студенческие годы не на изучении наук, а на поглощении пива и на корпорационных экскурсиях. Но в Германии относятся философски к этим неизбежным явлениям в жизни молодежи, в уверенности, что радикальных педагогических средств против них нет, а жизненная борьба исправит кого нужно. У нас эти явления, конечно, выразились бы гораздо сильнее и оказали бы более вредное влияние; общество само еще так неустроено, что нуждается скорее в благотворительном воздействии со стороны университета, чем способно оказать на него такое воздействие; идейные противоположности резче, смута в умах и отношениях слишком велика, темпераменты нервные. Было бы плохой услугой нашей молодежи оставить ее совершенно без указаний во время прохождения университетского курса.

К этому присоединяется и другой ряд соображений, выяснившийся с особенной силой за последнее время: свобода слушания в университете обратит наших студентов в вольных слушателей. Между теперешним предоставлением оканчивающим курс в университете служебных профессиональных прав и определенным руководством и контролем над их занятиями существует неразрывная связь. Нельзя требовать от государства, чтобы оно предоставляло права и преимущества лицам, которые занимались чем хотели и как хотели. Оттого полная свобода слушания может совмещаться, с государственной точки зрения, лишь с совершенно не зависимиыми от прохождения курса государственными экзаменами. Оттого система комиссионных экзаменов проводилась у нас под флагом свободы слушания. Положим – флаг защищал в данном случае контрабанду; но чем искреннее и полнее будет осуществляться свобода слушания, тем сильнее обособятся требования государства и тем неизбежнее станет отделение всякого рода прав и преимуществ от прохождения университетского курса.

Мы уже столько посвятили места доказательству, что порядок отделенных государственных испытаний вреден, что считаем лишним возвращаться к этой стороне дела. Но вопрос может быть освещен и с другой стороны. Что бы ни говорили враги университетов, не подлежит сомнению ни для кого из беспристрастных наблюдателей, что наши университеты имеют за собою великую и, может быть, главную заслугу – насаждение в правящих кругах нашего общества высшего образования. Эта заслуга крупнее всех тех значительных результатов, которых они достигли в служении науке и в распространении профессиональных сведений. Это великое историческое дело на пустынной и загроможденной препятствиями почве связано именно с их историческим складом, с почетным местом, которое было предоставлено их воспитанникам в государственной деятельности и профессиях, связанных с функциями государства. Эти права и преимущества университетского курса сформировались потому, что Россия нуждается для пополнения своего государственного персонала не только в людях, обладающих определенными знаниями или выдержавших тот или другой экзамен, но прежде всего в людях с высшим образованием, с культурным достоянием, которое было бы не ниже того, какое получают руководящие люди на Западе. Приобретением этих прав университеты не принижают своих стремлений до ступеней табели о рангах, но возвышают культурное значение государственной службы и либеральных профессий. Отнятие этих прав было бы равносильно покровительству стремлениям, которые ничего общего ни с высшим образованием, ни с свободой знания не имеют. Не мудрено, что за отнятие прав поднимаются голоса людей, не расположенных к университету и его воспитанникам. И было бы очень наивно со стороны убежденных сторонников университетов увлечься словами: «свобода слушания», «разрыв с практическими стремлениями» – и сдать заслуженную университетами позицию их врагам.

В связи с агитацией в пользу отнятия прав университетских воспитанников стоит характерное предположение отбирать в университет только тех, кто интересуется наукой, а остальных, ищущих практической деятельности и прав, направлять экзаменоваться в государственных комиссиях, допуская их слушать лекции, сколько они хотят и как хотят, в качестве вольных слушателей. За эти проекты надо быть глубоко благодарными их составителям, потому что они приводят всю заманчивую проповедь свободы слушания и государственных экзаменов к ее конечным последствиям и – к к чему-то нелепому... Вместо университетов получают какие-то ученые семинарии для приготовления «людей чистой науки», вполне равнодушных к практической жизни и деятельности. Вместо студентов – не только «отдельные», но и «временные» посетители университетских аудиторий, могущие быть удалены из них без всяких осложнений при первом недоразумении или неудовольствии. Вместо совместной работы профессоров со слушателями – испытательные комиссии, которые будут фабриковать дипломы и отказывать в них в совершенном неведении относительно того, как проводит время испытуемый до появления перед экзаменным столом и каким путем приобрел умение отвечать на вопросы программы. Я думаю, что многие даже из тех, кто не совсем доволен традиционными

порядками русских университетов, присмотревшись к этой картине, предпочтут продолжать занятия с молодыми людьми, ищущими, между прочим, и прав в практической жизни. Их, быть может, утешит соображение, что и практическая жизнь нуждается не в одних людях, упразднивших в себе всякие помыслы о высшем образовании, и что большинство тех, кто не гнушается дипломом и нуждается в нем, совсем не так цинически равнодушно к идеям высшего образования, как изображают строгие цензоры нашего студенчества. Будем надеяться, что последним не удастся провести программу, истинным девизом которой может быть тацитовское: «расет vocant, solitudinem faciunt»<sup>203</sup>.

Если свобода слушания и соединенные с нею отделение государственных экзаменов и отнятие у университетских воспитанников прав не годятся для наших университетов, то является вопрос: не следует ли подчинить последние строгой школьной системе? Можно, пожалуй, распределить всю массу студентов между преподавателями, ассистентами и тьюторами, следить за всеми подробностями занятий каждого кружка, задавать уроки, производить репетиции. Мне кажется, подобная организация так же мало годна для наших университетов, как и свобода слушания.

Во-первых, ее едва ли будет под силу осуществить с нашим довольно скудным преподавательским составом. Чтобы провести ее сколько-нибудь достойным образом, нужен весьма многочисленный штат руководителей, способных разрешить чрезвычайно трудные педагогические задачи занятий с взрослыми людьми. Конечно, номинально во главе будут стоять профессора, но при множестве студентов они должны будут передоверять большую часть занятий ассистентам и тьюторам, а помощь последних, как бы она ни была полезна при постоянном руководстве профессора, не может ни в каком случае быть заменой этого руководства. Попытка перестроить университетское преподавание таким способом повлияет неизбежно на понижение его качества. Во-вторых, нельзя не принять во внимание и то, что студенты, в общем, едва ли отнесутся сочувственно к подобной реформе. Помимо дурных побуждений, в данном случае скажется совершенно естественное стремление молодых людей к известной самостоятельности и свободе располагать своим временем и способностями. Проводить школьную систему в университете можно было бы только путем постоянного и педантического гнета, ежегодной борьбы с уклонениями, с оппозицией. На это можно было бы решиться только при неимении никаких других средств и при уверенности в громадной пользе подобного порядка, а надо сказать в заключение, такого убеждения быть не может. Наоборот, такая попытка совершенно убьет свободный интерес к науке, которым живут не только ученые исследования, но и воспитание юношества. Что бы ни говорили об университетской молодежи, в большинстве ее представителей в той или другой форме, в той или другой степени, проявляются идеальные стремления. Все эти лучшие будут подавлены школьной муштровкой, а чернь, которая есть везде, немного выиграет от того, что ее прогонят сквозь строй репетиций. Подчинять организацию университетов желанию подгонять худшую часть их состава едва ли уместно и полезно.

Остается подумать об усовершенствовании выработавшейся у нас исторически системы факультетского руководства. При этом придется пользоваться и учебными планами, и экзаменами, и практическими занятиями, но пользоваться так, чтобы по возможности ослабить, если не устранить, присущие каждому из этих педагогических средств недостатки.

Мы видим, например, что руководство обращается в деспотизм или в фикцию, если связывать с ним слишком обширные и неподатливые требования и тем самым закрывать студентам возможность удовлетворять свободную любознательность. Первым указанием, отсюда вытекающим, должно быть составление учебных планов, обнимающих лишь предметы строго необходимые для подготовки по каждой отдельной специальности, а не совокупность предметов, имеющих более или менее отдаленное отношение к ней. Иначе говоря, вместо общих планов по факультетам или хотя бы даже по отделениям, в том обширном смысле, как у нас упо-

треблялось до сих пор слово «отделение», планы обязательных курсов должны быть *групповые* на менее широком, но прочном фундаменте.

Например, на историко-филологическом факультете можно было бы разрешить, быть может, следующие комбинации предметов, кроме логики и психологии, которые должны слушаться всеми:

1) *Древние языки* (и литература), сравнительное языкознание, история древней философии, древняя история.

2) *Славянские наречия*, славяноведение, сравнительное языкознание, история всеобщей литературы (или история русской литературы).

3) *Русский язык*, история русской литературы, история всеобщей литературы, история философии, русская история.

4) (*Германские*) (или романские) языки, сравнительное языкознание, история всеобщей литературы, история философии, всеобщая история.

5) *История*, всеобщая и русская, история философии и древние языки (или русский язык и литература, или история искусства).

6) *Философия*, история всеобщей литературы, всеобщая история, древние языки.

7) *История искусств*, история философии, всеобщая история, история всеобщей литературы, древние языки.

В каждой группе один предмет будет главным и на него должно быть обращено особенное внимание занимающегося.

При такой системе студенты будут значительно облегчены по отношению к числу обязательных часов, и тем самым получают возможность записываться на необязательные курсы по свободному выбору. Само собой разумеется, что они главным образом будут подбирать дополнительные часы по родственным специальностям, – историки, быть может, запишутся на некоторые курсы юридического факультета, философы иной раз будут слушать физиологию и т. п. Всех возможных комбинаций в этом случае нельзя ни предусмотреть, ни предписать, но необходимо расчистить им дорогу. На других факультетах будет, быть может, несколько трудно провести такое дробление, но очевидно, и на них можно будет допустить несколько обязательных комбинаций вокруг центральных наук, например: вокруг математики, физики, химии, астрономии, геологии, биологии и географии – на математическом факультете; вокруг гражданского права, уголовного, государственного и политической экономии – на юридическом. Всего труднее раздробить предметы медицинского факультета, вследствие его профессиональных задач, которые не допускают специализации для большинства врачей. Но и тут, вероятно, можно расположить преподавание так, что одни и те же предметы будут изучаться в большем или меньшем объеме, смотря по выбору преимущественной специальности. Во всяком случае, если бы задача и не допускала совершенно однообразного решения для всех факультетов, необходимо обратить серьезное внимание на предлагаемое решение там, где оно возможно, потому что оно несомненно облегчит серьезное прохождение главных, обязательных предметов и откроет доступ к занятиям предметами необязательными.

Возражения против подобной системы могут быть тройкого рода. Можно сказать, что она придает университетским занятиям слишком специальный характер: желательно, чтобы все проходящие, например, филологический факультет занимались древними языками, чтобы все слушали историю русской литературы, всеобщую и русскую историю. Но, по пословице, «Le mieux est l'ennemi du bien»<sup>204</sup>.

Лучшее пожертвовать обязательностью этих предметов, которые при талантливых преподавателях, несомненно, будут привлекать и необязательных слушателей, нежели дробить курс на мелкие кусочки и заставлять студентов придумывать обходы факультетской многопредмет-

ности. Другое возражение будет, конечно, представлено с точки зрения профессиональных требований. Можно ли студентам, занимавшимся в группах, давать профессиональные права вне этих групп? Если нельзя, то не будет ли это значительным практическим затруднением для начинающих? Придерживаясь примера филологического факультета, какой ход получат, например, окончившие курс по философской, по эстетической группе? Эти комбинации стоят, конечно, дальше от обыкновенных профессий преподавателей древних языков, русского языка и словесности, новых языков, истории, но, не говоря о лицах, ищущих научной деятельности или просто высшего образования, занимающиеся в этих группах могут получить, быть может, под условием дополнительного экзамена, права преподавания по родственным специальностям, например, занимавшиеся философией – по истории и русской словесности. То небольшое осложнение занятий, которое отсюда возникает, будет для них удобнее, нежели теперешний порядок, при котором они проходят под игом чужого специального отделения, изыскивая обходы и добываясь снисхождения. Да и в интересах самих профессий едва ли будет хуже, если историю, например, иногда будет преподавать и тот, кто ревностно занимался в университете философией. Мы привыкли и не к таким перемещениям специальностей, и не у нас одних они практикуются: в Англии значительная часть практикующих юристов в университете занималась филологией или математикой. Главное – сделать университетские занятия интенсивными и плодотворными, а некоторые приспособления к профессиональным требованиям всегда легко будет устроить.

Наконец, третье возражение, или скорее недоумение, может возбудить вопрос об организации курсов для большего числа возможных комбинаций. Ясно, что при сильной дифференциации учебных планов, которую я рекомендую, не всегда возможно будет вести предполагаемые группы, как теперь ведутся отделения. Нельзя обеспечить особыми курсами все эти комбинации, из которых некоторые будут, конечно, представлены небольшим числом студентов, некоторые могут в данный момент не быть представлены вовсе. Но так как важнейшие факультетские предметы будут появляться в разных комбинациях, то основные курсы по ним можно будет читать для слушателей с разными учебными планами, а кроме того по каждому предмету потребуются специальные курсы и практические занятия, вроде немецких *privatissima*<sup>205</sup>, на которых придется работать и с весьма небольшим числом слушателей. Во всяком случае задача будет однородна с той, которую разрешают с полным успехом немецкие университеты, но значительно легче последней.

Я убежден, что уже предлагаемая разверстка учебных планов будет значительно содействовать оживлению интереса и увеличению успешности занятий в наших университетах. Вторым могущественным средством в том же направлении должно быть, несомненно, развитие самостоятельных занятий студентов. Не может быть и речи об отмене лекционного способа преподавания. Лекции всегда сохраняют свое громадное значение для общего ознакомления с науками, и совершенно напрасно в последнее время ведется поход против них. Ни книги, ни учебники никогда их не заменят. Помимо личной талантливости изложения, которая играла и играет слишком видную роль в университетской жизни, чтобы ее можно было игнорировать, профессорские курсы, даже средние, представляют незаменимое руководство, потому что каждый курс является в результате не только научного знания, но приспособления к условиям данного времени и места, чем не может быть книга, даже отличная. Пусть некоторые курсы застывают, пусть другие страдают некоторой неряшливостью и нескладностью, пусть цитаты подведены менее точно, обороты речи употреблены менее обдуманно, чем это делается в издаваемых для большой публики книгах. В общем, русским профессорам не приходится стыдиться своих курсов ни перед кем: они вкладывали в них лучшее достояние своего знания и труда, делали для них даже больше, чем для специальных исследований или печатных изданий. Сколько можно у нас назвать талантливых профессоров, которые именно в этой-то форме проявляли свою ученость и умение!

Но несмотря на громадное значение лекций, вполне признано теперь, что истинно плодотворными университетские занятия становятся, только если студенты принимают в них активное, сознательное участие. Из лабораторий и клиник практические занятия перешли в семинары, и в настоящее время даже самый отсталый в этом отношении из наших факультетов, юридический, усиленно заботится об организации разного рода практических занятий для своих слушателей. Надо только в этом отношении, более чем в каком-ли-бо ином, остерегаться переполнения, однообразной регламентации и школьного педантизма. Предложенная выше подвижная группировка предметов сама по себе будет содействовать главному условию успешности: студент будет заниматься тем, что его интересует и что сам выбрал. Но к этому надо прибавить, что *обязательные* практические занятия должны назначаться даже в пределах группы еще с большею осторожностью, нежели курсы, так как дело в этом случае – не только в слушании и пассивном усвоении, но и в определенном активном участии. Едва ли студент будет в состоянии справляться более чем с двумя семинариями одновременно: само собою разумеется, впрочем, что ближайшие указания могут быть выработаны лишь факультетами по соображении всех наличных условий.

Способы ведения практических занятий так же различны, как различны методы наук и преподавания, с одной стороны, индивидуальности преподавателей – с другой. У одного профессора будет разбор исследовательских работ, у другого – интерпретация памятников, у третьего – сочинения на темы пропедевтического или общеобразовательного характера, у четвертого – упражнения, приспособленные для будущих педагогов, у пятого – анализ юридических казусов, у шестого – состязательные обсуждения тезисов, у седьмого – репетиция с целью усвоения курса или дополнений к нему и т. д. Все эти виды занятий могут вызвать величайший интерес, и каждый из них может стать в тягость, если предписывать его единственно пригодным.

Особенно велика опасность впасть в школьный педантизм по отношению к занятиям репетиционного характера. Они сами по себе менее рассчитаны на самостоятельность суждения, нежели на приобретение и выяснение полезных сведений, и как раз потому следует придавать их организации возможно непринужденный вид – иначе эти занятия будут наказанием. Один профессор рассказывал мне, что он с большим успехом практикует перед своим экзаменом его репетицию, на которой отвечают лишь желающие, и дело сводится на толковое повторение курса. Студенты охотно принимают участие в этих репетициях, но попробуйте сделать их общеобязательными и сопроводить взысканиями – они тотчас обратятся в невыносимую тягость.

Затронув экзаменный вопрос, мы прибавим лишь немного к тому, что было сказано по поводу действующих в настоящее время порядков: наблюдения над недостатками последних само собою наводят на желательные улучшения.

Без проверок и испытаний обойтись нельзя, раз дело идет о даровании прав, служебных или профессиональных, но руководящим началом при организации испытаний должна быть *возможно тесная связь с текущим преподаванием*.

Окончательное испытание из всех предметов курса за один раз, даже если курс будет взят в объеме группы, а не отделения или факультета, должно быть совершенно отменено. Поэтому не представляется никакой нужды в государственной испытательной комиссии с сторонним факультету председателем, хотя министерство всегда может прислать своего делегата на любой экзамен и, если найдет нужным, может даже систематически командировать своих делегатов на последние экзамены. Оспаривать или опровергать это право нет никакого основания до тех пор, пока университеты будут находиться в заведывании министерства народного просвещения: подобные делегаты могут быть полезны министерству различными сообщениями о нуждах преподавания, его характере, замеченных недостатках и желательных изменениях и т. п. Что роль делегата будет щекотливая и трудная – не подлежит сомнению; что на этой

почве могут быть большие злоупотребления и неприятности – также верно, но самое право естественно вытекает из положения министерства.

Ввиду того, что экзамены не скупятся в форме окончательного испытания, было бы крайне желательно предоставить студентам сдавать их по мере приготовления в указанные периоды, хотя бы весной, но без оставления на второй год на курсы. Такое оставление теперь ведет иногда к совершенно нелепым последствиям. Весьма часто случается, например, что оставленный слушает во второй год не повторение тех курсов, ради которых он был оставлен, а совершенно другие, затем выдерживает экзамен по последним и идет дальше с теми самыми проблемами, которые были обнаружены неудачным экзаменом. Если студент не выдерживал, например, экзамен из древней истории, то пусть он слушает еще раз древнюю же историю, а не среднюю или новую. С другой стороны, за что заставляют студента, выдержавшего удовлетворительно по всем предметам курса, кроме одного или двух, слушать вновь не только предметы, по которым обнаружили слабые знания, а также и те, по которым приобретены уже достаточные знания? Если засчитывать предметы по мере приготовления по ним, без отношения к курсам, то будут, конечно, случаи засидевшихся студентов, будут скучные повторения одних и тех же испытаний, распределение последних будет не так просто и с внешней стороны компактно, но все это ведь второстепенные неудобства, меньшее зло сравнительно с осаживанием студентов на целые годы без определенно поставленной им при этом цели, а против злоупотреблений предложенной постановкой дела нетрудно принять меры.

Особенный вес при оценке должна играть самостоятельная работа студентов, их сочинения, рефераты, свидетельства об их участии в семинариях и практических занятиях: все это имеет несравненно больше значения, чем ответы по затверженным курсам или учебникам. Даже на самих испытаниях желательно возможно часто применять письменные клаузные работы – приблизительно вроде того, как это делается в Англии. Письменный ответ имеет преимущество обдуманности, менее подвержен влиянию экзаменационных случайностей, наконец, ему может быть придан задачный характер с тем, чтобы работа обнаружила скорее ориентированность экзаменуемого в предмете и умение обращаться с его данными, нежели способность отрапортовать по книге. Сказанного, кажется, достаточно, чтобы установить мысль, что в этом направлении возможны весьма существенные улучшения даже при факультетском руководстве занятиями и при соединении их с приобретением служебных и профессиональных прав.

В заключение нельзя не отметить, что устав 1884 года имеет странную историю. Он не достиг того, что составляло его цель, а к тому, чего он достиг, едва ли следовало стремиться. Политические соображения, которыми он был вызван, не оправдались: радикальные идеи могут продолжать существовать в университете, потому что, в зависимости от разнообразных условий, они существуют в стране; социальный состав студенчества не изменился, потому что нет силы, которая могла бы сделать русское общество богатым и аристократическим.

С педагогической точки зрения, реформа принесла вред учебному делу, так как заключала в себе непримиримые противоречия и очевидную фальшь: ни качество преподавания, ни успешность студенческих занятий не возросли, хотя профессиональные требования были выдвинуты вперед в ущерб научным; попытка непосредственного вмешательства центральной власти в руководство преподаванием привела лишь к неприятностям для факультетов и профессоров, к изданию нескольких документов, которых лучше было бы не издавать, и к ухудшению порядка экзаменов.

В частности, не только не было достигнуто успокоение студенчества, а наоборот, столкновения между учащейся молодежью и учебными властями стали чаще и обострились. Полный успех имела только одна сторона преобразования – бюрократизация университетов; но и в правительстве, и в обществе возникают сомнения, чтобы этот результат был сам по себе таким

благом, ради которого стоило пожертвовать всем остальным. Трудно уклониться от вывода, что порядок, так дурно выдержавший короткое испытание семнадцати лет, подлежит коренному пересмотру и изменению.

## Что делается и что делать в русских университетах?

В русской обстановке общественные факты получают часто такое смутное освещение, что приходится долго и внимательно присматриваться, чтобы уяснить их смысл. Университетские дела последнего времени представляются именно в таких неопределенных очертаниях. Признавать ли реформенные начинания министерства народного просвещения значительным шагом вперед против прежнего застоя или считать эти начинания запоздалыми и недостаточными? Приветствовать ли студенческие волнения в качестве последовательного и бесстрашного протеста против бесправия или сожалеть о них как о подрыве высшего образования в стране, которая прежде всего нуждается в распространении образования? Эти и подобные вопросы навязываются тем настоятельнее, чем свободнее относится наблюдатель к явлениям русской жизни, чем менее он связан теми или другими готовыми решениями.

Для выяснения дела установим прежде всего, что приблизительно с начала девяностых годов стало формироваться своеобразное направление студенчества, не похожее на его состояния в предшествовавшие десятилетия. Постепенно повторяющиеся и распространяющиеся по всем русским высшим учебным заведениям волнения показывают даже самым равнодушным и легкомысленным людям, что совершается нечто более серьезное, нежели вспышки молодой горячности.

В начале шестидесятых и в начале восьмидесятых годов, правда, политическое брожение, охвативши общество, захватило, между прочим, и студенческие круги, но это было делом сравнительно скоропреходящего настроения, главные центры движения находились в других местах, и студенческие программы не получили руководящего значения. Иное дело теперь: на академической почве из года в год повторяются протесты, демонстрации, к которым присоединяются всевозможные злобы дня общественной жизни. Совокупность этих явлений объясняется, видимо, комбинацией трех движений – развитием солидарности в среде молодежи, влиянием реакционного устава 1884 года, распространением общего недовольства российскими порядками.

Рост студенческих организаций достаточно известен. Его моменты намечены были, например, в Киевской записке профессора князя Евгения Трубецкого<sup>206</sup>; сначала отдельные землячества и кружки самообразования, преследующие частные цели товарищеской поддержки в материальном и духовном отношениях; затем, с конца восьмидесятых годов, при понижении авторитетов профессоров и академических властей, объединение товарищеских кружков и образование союзных организаций, направляющих и формулирующих общественное мнение студенчества; наконец, сношения между союзными организациями разных университетов, политическая агитация всероссийского студенчества. Характерна смена преобладающих интересов: сначала стоят на очереди вопросы материальные и теоретические; во втором периоде преобладают вопросы университетской нравственности, если можно так выразиться; в последнее время политические интересы обозначаются все яснее и выдвигаются политические требования, тогда как друзья «академической свободы», мало-помалу теряют почву под ногами. В этом развитии политического элемента сказывается отчасти неправильная постановка, данная студенческому быту администрацией. Удовлетворение неустранимых стремлений молодежи к общению и взаимопомощи объявлено было нелегальным и оттеснено в область подпольных заговоров. Как хорошо показывает князь Трубецкой, это имело два последствия: подорвано было уважение к закону, закону неисполнимому, и неудержимо образовывавшиеся студенческие товарищества приняли характер противоправительственных организаций. Кроме того, как настаивают все университеты в своих ответах на разосланные весной 1901 года вопросы<sup>207</sup>, отрицательное отношение устава к студенческим организациям лишило массу так называемого спокойного студенческого голоса и влияния, предоставив их всецело тем, кто

решился нарушать устав и оказывать неповиновение властям. По этим очевидным соображениям министерство ген [ерала] Ванновского и признало необходимым узаконить известные формы организации<sup>208</sup>. И если бы студенческие волнения обуславливались лишь пробелами и ошибками законодательства по вопросу об университетских кружках, то начинания министерства при всей своей скудости, может быть и имели бы некоторый успех.

Однако, как уже сказано, дело осложнялось тем, что налицо не только упомянутые пробы и ошибки, но общее расстройство академического быта под влиянием «консервативной» политики Катковых, Толстых, Деляновых и Боголеповых<sup>209</sup> и общее сознание упадка государства под господством пережившего свой смысл самодержавия.

Понятно, что чиновничий режим, введенный уставом 1884 г., не мог не вызвать враждебности и сопротивления со стороны студентов. Учебные власти потеряли всякий нравственный авторитет в университетах с тех пор, как правительство сочло нужным обосновать их положение исключительно на зависимости от министерства. То недоверие к профессорам, которое проходило красной нитью через «новый устав» и меры его сопровождавшие, шло дальше цели, поставленной близорукой политикой Катковых и компании. Выходило одно из двух. Или профессора заслужили враждебное и презрительное отношение, которое обнаруживалось по отношению к ним в каждом действии правительства, но в таком случае как можно было оставлять в их руках дело воспитания юношества? Или они были достойны доверия в этом важнейшем деле, но в таком случае какое было основание ставить их, подобно студентам, отдельными посетителями университета? Циническая уверенность, что достаточно приказаний и наказаний, чтобы поддерживать порядок, очень скоро оказалась совершенно неосновательной в применении к университетам. Наказания все усиливались вплоть до временных правил и массовых исключений 1899 года включительно<sup>210</sup>, а вместо ожидаемого от них воздействия получилось нечто как раз обратное. В критических обстоятельствах власти вновь и вновь стали прибегать к помощи тех же профессоров, которых унизили, но воззвания профессоров «in extremis»<sup>211</sup> с каждым разом становились все менее внушительными, потому что фальшь их была слишком очевидна<sup>212</sup>. Студенты не могли понять, что профессорская «коллегия» призвана, по щедринскому выражению, лишь кричать «ура» и «караул»<sup>213</sup>; немудрено, что они придавали мало значения ее увещаниям. Чтобы восстановить нравственный, а не внешний порядок в университете, необходимо было вновь связать его с началами свободной науки и самостоятельной профессуры. Не даром самое название «профессора» напоминает об исповедании<sup>214</sup> – исповедывать же можно лишь свои убеждения, а не чужие приказания. Неотложность коренных изменений в этом смысле становилась до такой степени очевидной, что и в этом отношении министерство Ванновского признало желательность некоторых реформ.

Но чего новое министерство не признало и не могло признать, так это настоятельной необходимости изменить невозможный строй общественной жизни. Можно ли удивляться тому, что молодые люди, собирающиеся со всех концов России, представляющие все классы и состояния русского общества, испытавшие на себе тяжкие условия русской действительности – оскудение, разграбление, беззаконие, произвол, продажность, молодые люди, к которым с кафедры и из книг несется проповедь идеальных стремлений, нравственности, гуманности, самостоятельности, патриотизма, которые силою вещей собраны в многоголовое, смелое своей солидарностью общество, чтобы эти молодые люди могли относиться безучастно к византийщине, которая смотрит на них из правительственных мест и церквей, и не только смотрит, но соглядатайствует, подготовляет расправы, совершает казни? Говорят, дело незрелой молодежи учиться, а не заниматься политикой и производить политические демонстрации, это замечание, быть может, и имело бы смысл, если бы у нас возвышали свой голос о вопиющих нуждах государства зрелые граждане. Но так как последние возвышают свой голос лишь в тех случаях,

когда предстоит благодарить Всевышнего за посрамление «бесмысленных мечтаний»<sup>215</sup>, то немудрено, что незрелая молодежь пользуется Казанским собором для политических демонстраций. Притом не только чужие и более или менее отдаленные бедствия волнуют студентов, не только то, что они знают о крестьянской нищете, налогах и недоимках, о хозяйничанье земских начальников, о соращениях в православии, о лжи официальных славословий, о циническом гаерстве и тупой бессодержательности подцензурной печати и т. д., и т. д. В самом университетском быту они знакомятся со всевозможными проявлениями русской кривды. Они лицом к лицу встречаются со шпионами и провокаторами, с душеполезной опекой инспекции и с кулачными расправами полиции. Они могут оценить реальный смысл в России принципа равенства граждан перед законом – на судьбе своих товарищей еврейского и польского происхождения<sup>216</sup>. Они знают, что значит усиленная охрана и генерал-губернаторская власть, не раз были свидетелями внезапного исчезновения товарищей неизвестно почему, неизвестно куда, а иногда испытали на себе общественную силу нагайки. И, так как они молоды, то все эти «порядки» возбуждают в них не столько страх, сколько негодование. Изменить эти условия уже не входит в компетенцию министерства народного просвещения. А между тем его министру суждено считаться с единственными в России обществами, членам которых нельзя закрыть рот, – с массами студентов высших учебных заведений. Нельзя не задуматься над неблагоприятной ролью министра.

Что же предполагает он сделать и что сделал? Апрельский рескрипт 1901-го возвестил широкие реформы в области народного просвещения при личном участии императора в их проведении<sup>217</sup>. Университетам предоставлено было высказаться обо всех частях своего быта, и для сводки обширного материала, доставленного ими, образована была чисто департаментская комиссия, в которой не нашлось места ни для одного представителя университетской науки и жизни<sup>218</sup>. Какие же намечаются результаты? Передается за верное, что в строе университетов предполагается расширить в значительной степени деятельность советов, сохранить во главе университета назначаемого бюрократа-ректора. Нет причины сомневаться в верности этих известий. С их точки зрения получает смысл назначение товарищем министра Г. Э.Зенгера, за которого говорит лишь то, что он искусился в Польше в роли бюрократического начальника профессорского совета<sup>219</sup>. Иначе пришлось бы объяснить назначение этого яркого классика евангельским правилом, что левая рука не должна ведать о том, что творит правая<sup>112</sup>. Не менее характерны усиленные попытки министерства устроить в Петербурге и Москве некоторую пробу предполагаемой системы в форме комиссий для попечения о быте студентов под председательством ректоров и в непосредственном общении с правлениями и инспекциями, но в составе профессоров, которые призваны к тому, чтобы подновить кредит обанкротившейся администрации и разделить *odium*<sup>220</sup> репрессивных мер. В Москве совет после малодушных благодарений отказался от этого подарка, а в Петербурге принял его, чем и заслужил в министерстве репутацию активности, весьма, впрочем, недолговечную, так как лекции почти сряду после этого пришлось прекратить.

Нельзя было не остановиться на отмеченных выше слухах и симптомах, потому что они предвещают вероятное направление университетской реформы в ближайшем будущем.

Представители бюрократического принципа, начиная от министра и кончая помощником инспектора, все научились за время господства устава 1884 года тяготиться своим безраздельным заведыванием университетскими делами. Они все стремятся вновь привлечь профессоров к участию в распределении стипендий и пособий, в устройстве общежитий, в постановлении приговоров суда, в руководстве инспекцией, в работах о смете и т. п. Помимо

<sup>112</sup> Переход Г. Э. Зенгера в роль министра показывает, что к нашим порядкам можно применить и другое евангельское изречение: «довлеет дневи злоба его».

значительного облегчения труда администрации, ясен расчет на то, что вмешательство преподавательской коллегии смягчит резкую противоположность между властями и студенчеством и отклонит на профессоров ответственность за непопулярные меры. Но от этой смешанной системы до самоуправления университетов далеко, и на почву автономии руководящие люди министерства нисколько не намерены переходить. Такая автономия, бесспорно, не отвечала бы традициям бюрократии, которая не только привыкла пожинать то, что другие посеяли, но и не терпит рядом с собою, даже в почтительной второстепенности, какой-либо самостоятельности, радующейся и гордящейся своей собственной жизнью. Беда в том, что эти полуперемены, облегчив слабость отживающего порядка, не достигнут цели его возрождения. От двусмысленной роли соучастников гнилой администрации, спутников назначенного ректора профессора не выиграют, а проиграют, да и сама администрация не получит от этого союза с дискредитированными профессорами никакой действительной поддержки. Насколько все это вытекает из самого положения вещей, показывает любопытная история профессорских комиссий, которые пытались в Москве установить некоторый порядок в университете. Весной 1901 г. первой из этих комиссии удалось, держась в стороне от негодного правления, успокоить студентов тем, что им была дана возможность высказаться об университетском быте<sup>221</sup>. В виде благодарности комиссия получила нагоняй от местного начальства. Осенью того же года другая комиссия положила почин к тому, чтобы придать выражению студенческих мнений и просьб определенность и правильность и тем устранить предъявление необдуманных и крайних требований<sup>222</sup>. На этот раз пришлось все дело бросить вследствие прямого вмешательства министра, который усмотрел в этом начинании нежелательные черты университетской автономии. Как понимает министерство допустимые, с его точки зрения, реформы студенческого быта и университетского управления, показывают изданные им в декабре прошлого года «временные правила» о студенческих организациях.

В силу этих правил открывается возможность устраивать на законном основании целый ряд, несомненно, полезных учреждений – кассы, столовые, чайные, научно-литературные, художественные и гимнастические кружки. Кроме того, студенты получают некоторую общую организацию для научно-вспомогательных целей. Все это хорошо и представляет шаг вперед сравнительно с односложным «не дозволено», которым учебная администрация отвечала на все студенческие запросы в дяляновское и боголеповское время. Тем не менее по каждому отдельному пункту возникают сомнения и возражения. Разрешаются кассы взаимопомощи, и ими, очевидно, имеется в виду заменить исторически сложившиеся землячества. Но участникам кассы могут быть лишь студенты того или другого учебного заведения, а это идет наперекор бытовым потребностям и обычаям земляческих ассоциаций, участники которых всегда принадлежат к разным заведениям и даже разным поколениям. Надо думать, что эта черта землячеств не случайная, что живые местные связи не так легко подрывать применительно к образцам форменной одежды и годам рождения. Положим, задача уместить на признанной официальной почве нечто подобное провинциальным земляческим кружкам нелегкая, но, по-видимому, она не совсем неразрешима: ведь знают же немецкие корпорации «старых господ» и допускают же самые различные общества, наравне с членами действительными, сотрудников. Наконец, учреждение землячеств в составе учащих различных учебных заведений могло бы вызвать и попечительство над этими землячествами от разных учебных заведений. Открытие научно-литературных кружков составляет давно назревшую потребность молодежи, и в этом отношении имеется даже некоторый опыт, особенно в истории университетского общества под председательством профессора Ореста Миллера<sup>223</sup> в Петербургском университете<sup>113</sup>. Об этом кружке все его члены сохранили на век самые лучшие воспоминания. Но именно опыт упо-

---

<sup>113</sup> Автор имеет в виду Студенческое научно-литературное общество при Петербургском университете, закрытое в 1887 году за то, что некоторые его члены оказались участниками покушения 1-го марта. – *Ред.*

мянутого учреждения и заставляет усомниться в возможности вести подобное дело в наших университетах с достаточной свободой и в то же время с некоторой гарантией против репрессивного вмешательства. Мы так привыкли к разным формам опеки, цензуры и доноса, что не верим в возможность спокойного существования студенческого общества, в котором обсуждались бы свободно вопросы государственного права и политической экономии, философии и религии. А чтобы молодежь согласилась соблюдать все предосторожности, оговорки и умолчания, которыми сопровождается обсуждение этих вопросов в обществах «граждан», в этом позволительно усомниться.

Временные правила ген [ерала] – адъют [анта] Ванновского предусматривают организацию по курсам, но для каких целей? Исключительно для производства выборов и разрешения вопросов технического характера. В этом, очевидно, раскрывается полное несоответствие между тем, к чему стремятся студенты, и тем, что предлагает министерство. Кто не понимает, что движение, которому правительство открывает такое узкое русло, по существу, направлено на то, чтобы вырабатывать и выражать мнения студенчества по волнующим его вопросам? Оттого и суть реформы должна бы состоять в открытии способов для выработки и выражения подлинных мнений студентов. Если хотят разумно ответить на запросы, а не просто затушить их, если хотят прекратить эру сходок, демонстраций и забастовок, если хотят уравновесить влияние зажигающих речей и конспиративных приемов, то надо организовать студенчество как целое, во всем его составе, провести эту организацию в форме правильных собраний и правильного представительства и опираться на разумное сознание и свободное мнение большинства студентов. Если найдутся вопросы, по которым взгляды властей и студентов разойдутся, пусть имеют право и мужество настоять на своем, но только при свободе образования студенческого мнения можно добиться уважения к непопулярным решениям властей. То, что мы говорим, конечно не обращается к трусливым поклонникам заведенных порядков. Мы знаем, что они с ужасом увидят в таком отношении к совести и взглядам студентов отречение от порядка, передачу управления университетов в руки студентов. Но людям, знающим практику заграничных студенческих ассоциаций и сознающим неизлечимое зло теперешнего положения, равносильного разложению академической жизни, предлагаемые меры не покажутся ни неосуществимыми, ни пагубными. Попытки именно в этом направлении делались на курсовых совещаниях и общеуниверситетских собраниях 1901 года с вольного или невольного разрешения властей. Но при составлении правил все это было оставлено без внимания и единственным намеком на возможность совещаний по общеуниверситетским вопросам являются §§ 16 и 17, допускающие какие-то совещания старост по их инициативе или по предложению начальника заведения, без обозначения цели или компетенции этих собраний, и при том в такой форме, которая, очевидно, должна лишить эти совещания всякого авторитетного характера<sup>224</sup>

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.